

Вирджилио Скапич

НЕУДАВШИЙСЯ СВЯЩЕННИК



56 коп.

Переплет 16 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Москва 1967



**IL CHIERICO
PROVVISORIO**

Romanzo

di VIRGILIO SCAPIN

MILANO



Вирджилио Скапин

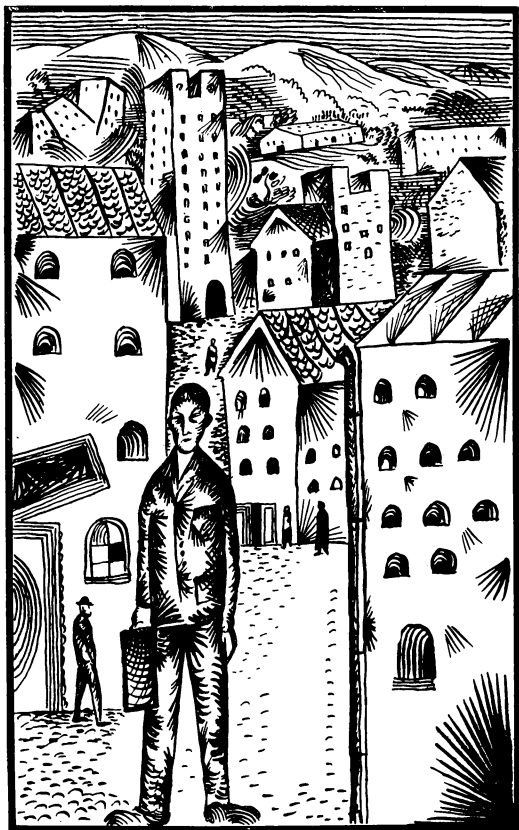
НЕУДАВШИЙСЯ СВЯЩЕННИК

Р о м а н

*Перевод с итальянского
Ю. Добровольской*

*Послесловие
А. Куртна*





Часть первая

Часы над витриной ювелира еще не показывали восьми, а отец уже суетился возле своего запертого магазина. В одной руке у него позвякивала увесистая связка ключей, другую он держал в кармане, где лежали деньги. Двигался он с трудом: ноги у него были изувечены, позвоночник искривлен; черный суконный костюм жал,— одному поднять тяжелые жалюзи ему было не под силу.

Он легонько толкал плечом входную дверь, прятал в карман листок, оставленный ночным сторожем, и бросал неприязненный взгляд на зарешеченные окна ювелира. Отец ему завидовал: в ювелирном магазине не было сыра, который плесневеет, шоколада, в котором заводятся черви, мышей, которые гадят на мешки с макаронами, а главное — не было приказчиков, вечно опаздывающих к открытию.

По мере того как минутная стрелка, скачками подбираясь к восьми, напоминала, что время идет, а магазин все еще закрыт, отца разбирала такая досада на этих вечно опаздывающих приказчиков, что у него слабели колени и начиналась дрожь во всем теле. Клокоча от ярости, он садился на приступок у входа; ключи покачивались между колен, тяжелая, как камень, рука по-прежнему сжимала в кармане деньги.

Ровно в восемь, запыхавшись, точно гончие, подъезжали на велосипедах приказчики. Отец вскакивал с места — откуда только прыть бралась! — и совал им ключи.

— Вот мерзавцы! — ругался он, заложив руки за спину и прислушиваясь к скрежету открываемых жалюзи. — Являетесь тютелька в тютельку — будто господка к обеденной мессе...

И, вдыхая теплый вонючий запах, раскорякой входил в свой оптовый магазин продовольственных товаров.

Посреди первого помещения (всего их было два, смежных) возвышался огромный крокодил из папьемаше; лапы его опирались на четыре кадушки с квашеной капустой, спину ему пронзало копье, на котором висела табличка с надписью: «Колониальные товары». Крокодил лежал распластавшись, распахнув огромную розовую пасть, выставив острые зубы и толстый прямой хвост. Входя, отец неизменно шлепал его по чешуйчатой спине, а приказчики вешали ему на хвост пустые хозяйственные сумки.

— Надо сказать спасибо фашизму за то, что у нас такая молодежь, — шипел отец сквозь зубы и направлялся к кассе, находившейся в конце прилавка, проверить, в том ли порядке лежит товар, в каком он оставил его накануне.

Передвигаться в магазине можно было лишь по узким проходам между перевязанными ржавой проволокой штабелями трески, между рядами мешков с рисом и с кукурузной мукой, мимо колбасорезки «Беркель» (которую приказчики называли «сукой», потому что стоило только зазеваться, как она мгновенно срезала кусок кожи с пальца).

Крокодил лежал в центре причудливой разноцветной впадины, образованной банками с тунцом и маринованными угрями, которые красовались вперемежку с грецкими орехами в небольших мешочках, и коробками какао.

Вдоль стен тянулись широкие деревянные стеллажи, уставленные жестяными банками с печеньем, сырами «Пармезан», «Асиаго», «Веццена», коробками конфет «Венки» и бутылками ликеров, отчего магазин походил на деревенскую лавку, где торгуют обычно всякой всячиной.

Ах этот пронзенный копьем крокодил! Он появился в магазине в начале 1935 года, в дни, когда итальянские солдаты высаживались в Эритрее и Сомали. По словам начальства, оставалось только подготовить помещения попросторней, договориться с импортерами — и колониальные товары сделаются основной статьей итальянской торговли. Но нагрянули экономические санкции, и воздушные замки рухнули: бананы, расти-

тельные масла, специи, финики и кофе так и не поступили в продажу, равно как и никому не нужные пугровицы из пальмового дерева. Колониальных товаров не дождались, магазин опустел, и как-то вечером отец в приступе бешенства обрушил на крокодила град пинков.

Пока приказчики поднимали жалюзи, отец разворачивал газету и просматривал коммерческие новости. Торговая палата разослала несколько циркуляров, где в обтекаемых выражениях давала понять, что следовало готовиться к еще более трудным временам. По-видимому, размышлял отец, они собираются ввести карточки на основные продовольственные товары. Стало быть, настоящим продуктам ждать нечего, опять придется торговать метлами, щетками, сапожной мазью, моющими средствами и туалетной бумагой, а ящики из-под продуктов, от которых останется лишь воспоминание в виде этикеток, будут стоять и заполняться соломой...

Перед тем как стать владельцем магазина, отец работал кочегаром в транспортной компании «Трам-вие вичентине». Но после того как ему маневрирующим паровозом изувечило ноги и позвоночник, он стал совсем плох и по инвалидности был уволен на пенсию. Компания отделалась от него мизерной компенсацией. Подачку пришлось принять, хотя отец всегда считал, что его постыдно обманули.

Деньги он решил вложить в дело — купить оптовый магазин продовольственных товаров, но полученной суммы хватило лишь на полмагазина, и когда он в присутствии нотариуса подписывал на вторую половину суммы векселя, в горле у него стоял комок, на глаза навернулись слезы.

— Теперь мое имя стоит на пяти векселях! — причитал он, вернувшись домой. — Никогда нам из долгов не вылезти! Всю жизнь мне не везло. А теперь пришел конец и моему доброму имени...

Первые годы своей коммерческой деятельности отец жил, словно отшельник на пиру. Рюмки марсалы не выпил, хотя получал ее бочкамп, корочки сыра не сгрыз между обедом и ужином. В конце каждого ме-

сяца он отправлялся в банк сдавать выручку. Где он хранил деньги всю неделю, никто не знал. Он упаковывал ассигнации в пачки, мелочь складывал стопками, обертывал и то и другое в газетную бумагу и потихоньку куда-то прятал.

Дома у нас тратили мало. Питались отходами из магазина. О покупке новой одежды даже не помышляли. В ту пору у отца была преданная и непреклонная союзница — его мать. Худая как щепка, она больше походила на козу, нежели на женщину.

Вечно суетясь, бормоча под нос молитву, бабка ставила на плиту кастрюлю с супом с таким видом, будто там было невесть что. В действительности же похлебку варили из обрезков шпика, остатков картофеля, фасоли и макарон, которые отец выскребал из ящиков — перед тем как приказчики возвращали пустую тару на фабрику, заправляли ее оливковым маслом цвета дегтя.

В это время моя мать была беременна. Всякий раз, как это жирное варево разливали по тарелкам, ее начинало тошнить. Испугавшись, что она заболит, отец стал приносить ей тайком большие куски сыра. Мать столько его поела тогда, что меня по сей день мутит от одного сырного запаха.

Когда пять векселей были оплачены и возвращены отцу, он их сжег, чтобы даже следа не оставалось от этого позора. Матери, когда та просила денег на новое белье, он озабоченно отвечал:

— Хотя мы теперь и владельцы магазина, это не должно кружить нам голову. Ведь надо еще поставить на ноги детей, а сколько я протяну при моем слабом здоровье? Самое большее — несколько лет...

Глядя на свои изувеченные ноги, он сокрушенно качал головой.

Несмотря на то что магазин теперь принадлежал ему целиком и многопудовые запасы макарон, сахара, сыра были оплачены сполна, он сидел на своем табурете между телефоном и кассой с вечно удрученным видом и, подозрительно вращая глазами, вытаскивал из кармана деньги, листал приходо-расходные книги,

настороженно следил за прохожими, останавливавшими у витрины.

Тем временем приказчики расставляли на мраморном прилавке головки сыра, вскрытые банки с томатом. Если отец замечал, что они подбирают и кладут в рот крошки или суют пальцы в банки, он орал, что будет за это увольнять или удерживать часть зарплаты в конце месяца. Потом он вдруг умолкал и, схватившись за голову, опершись локтями о прилавок, в отчаянии думал, сколько раз они могли лакомиться продуктами за его спиной, зная, что из-за неподвижности позвонков у него не поворачивается шея.

В магазин, запыхавшись, вбегали приказчики из бакалейных лавок, говорливые коммивояжеры, и, по мере того как покупатели приходили и уходили, товары перекочевывали с полок в веревочные сумки клиентов. В ящички кассы текли деньги. Отец обливался потом, улыбался, сверкал глазами, ощупывал бумажки и монеты, которые пересчитывал с молниеносной быстротой, никогда не ошибаясь, и ставил жирные галки против оплаченных счетов.

В заднем помещении магазина, заполненном ящиками с макаронами, мешками с кофе и сахаром, бидонами с оливковым маслом и бочками с марсалай, хозяйничал мой дед, бывший капрал таможенной охраны. Ему помогал человек неопределенного возраста, по имени Латтанцио, такой худой и грязный, что, казалось, он состоял только из костей и тряпья.

Главным входом они никогда не пользовались, а в любое время дня проникали на склад через небольшую дверь, выходящую во дворик, где разгружались машины; дворик, наполовину прикрытый ржавым навесом, был весь залит маслом и мазутом.

В течение первых нескольких месяцев после открытия магазина дедушка пытался возражать против того, что его держали в подсобном помещении. Он привык жить на вольном воздухе, среди людей и при появлении покупателей бежал посмотреть, что им надо, стараясь привлечь к себе внимание. Когда ему это удавалось, он низко кланялся и заискивающе хихикал, словно лоточник на толчке.

В один прекрасный день дедушка вырядился в новый, с иголки, черный халат. Он сновал по главному помещению, точно любопытная сорока. Отец умолял его вернуться в подсобку: приказчики вечно оставляли отвернутыми краны у бочек, и марсала капала на пол, или же, балуясь, швыряли друг в друга целые пригоршни кофейных зерен.

Но все было напрасно. Дед был красивый мужчина и в черном халате чувствовал себя как нельзя лучше. Он прочувствованно жал руки коммивояжерам и, опемя от изумления, заложив руки за спину, подолгу простаивал перед богатыми коллекциями образцов. Была б его воля, он купил бы все, что они предлагали. Особенно ему нравилось заниматься витриной. На виду у улыбающихся прохожих он часами простаивал на коленях, прикидывая, как лучше расположить бутылки и банки. Чтобы заставить деда вернуться в подсобку, отец просил коммивояжеров никогда к нему не обращаться и не разрешал клиентам платить ему по счетам. Дед обиделся и заявил, что останется дома: пенсии ему хватало. Но жена пилила его ночи напролет: слуханное ли дело — бросить родного сына, да еще в таком плачевном состоянии, на произвол судьбы. Дед поворчал-поворчал и снова впрягся в работу.

Склад, подобно трюму старого корабля, кишел мышами. Дед весь день прислушивался к подозрительным шорохам, то и дело подзывал Латтанцио, чтобы тот помог ему передвинуть ящик или мешок. Вдвоем в поисках мышиных нор они изучали следы мышиного помета, приговаривая: «Надо с ними кончать, иначе от склада ничего не останется».

После обеда они принимались за дело: расставляли десятки мышеловок с приманкой — сыром или салом. На отца скрип передвигаемых ящиков и шарканье перетаскиваемых с места на место мешков действовали умиротворяюще; обычно оба старика, которые либо зевали, либо сустились без толку, его раздражали. Утром, войдя на склад и распахнув ставни, дедушка с отвращением и ликованием рассматривал дохлых мышей. Он демонстрировал мышеловки отцу, а тот, мед-

ленно ковыляя вдоль прилавка и не глядя на мышей, восклицал:

— Десятью ворами меньше. Мы их всех выведем!

То были редкие минуты, когда отец с дедом улыбались друг другу.

В противоположность отцу, который никогда ни с кем не дружил, у деда было множество друзей, особенно среди бывших таможенников. Два-три раза в месяц они бывали у него в гостях. Они заходили с черного хода, чтобы никто не видел, усаживались на корзины с турецкими винными ягодами и миндалем, оклеенные множеством экзотических этикеток, и вели беседы о былых временах, вспоминали, как ловили неплательщиков пошлины и контрабандистов.

— Нам бы следовало открыть таможенную консультацию,— говорил самый старший из приятелей, незадолго до ухода на пенсию дослужившийся до звания бригадира.

Латтанцио, крадучись, нацеживал из бочки бутылку марсалы, дедушка ставил коробку заплесневелого шоколада, доставал несколько черствых печений. Ловко орудуя складными ножиками, друзья счищали с шоколада плесень и потягивали марсалу прямо из бутылки, которая мигом исчезала среди мешков, как только слышалось тяжелое шарканье отцовских ног. Пока в подсобке шло угощение, приказчики, понимая, что перемигиваясь, старались разговаривать между собой как можно громче, а отец, чтобы заглушить раздражение, вызываемое их болтовней и смехом, погружал руки в кассу и принимался снова и снова пересчитывать выручку.

*

От старой профессии у отца осталась страсть к технике. В воскресенье после обеда он задерживался в магазине, разбирал колбасорезку, смазывал ее. Из приобретенных у механика частей он смастерил себе низкий велосипед. У него имелся ящичек со слесарным инструментом, который никому не разрешалось трогать,— отец держал его под замком в укромном уголке прилавка. Не думаю, чтобы он хорошо разбирался

в механизмах, но чутье у него было безошибочное. Автоматические весы, глядя на которые клиенты сами определяют, сколько весит товар, ему не нравились; зато пользу электрической кофейной мельницы он оценил сразу.

Однажды на выставке, устроенной Торговой палатой, он увидел, как работает аппарат для поджаривания кофейных зерен. Отец не мог от него оторваться, долго разглядывал со всех сторон. Мысль о нем в течение недели не выходила у него из головы. Представитель фирмы рассыпался в любезностях, совал ему в карманы рекламные проспекты, подсчитывал, сколько он сэкономит, поджаривая кофе сам.

— Очень выгодное дело, синьор Серафини, — нашептывал отцу представитель фирмы. — Ведь продавая кофе в готовом виде, вы заработаете вдвое больше. А уж как это делается, я вас научу!

Купив аппарат, отец вывесил у входа в магазин объявление:

«Кофе собственного изготовления. Смеси из разных сортов».

Каждый вторник поджаривался мешок кофе. Отца за кассой сменяла мать, а он с помощью деда и Латтанцио готовился к ответственной операции.

Аппарат состоял из большого перфорированного металлического цилиндра, укрепленного на двух блестевших смазкой стержнях и приводимого в движение ручным способом, от колеса. Кофе поджаривался на пламени от множества газовых горелок, вмонтированных в железный суппорт и похожих на опрокинутую борону. Когда заполненный кофейными зернами цилиндр закрывали, Латтанцио начинал медленно вращать колесо. При соприкосновении с раскаленными стенками цилиндра кофе начинал потрескивать, от него шел белый ароматный дым. Когда зерна приобретали янтарный цвет, отец останавливал цилиндр и поливал их оливковым маслом, чтобы они лучше блестели и больше весили. Поскольку для хорошей обработки кофе надо было держать его на медленном огне добрых два часа, то от дыма, одуряющего запаха и монотонного стука зерен о железную стенку в конце

концов все пьянели. Отец волчком вертелся по комнате, что-то бормоча про себя и вращая глазами с видом человека, наконец утолившего голод.

— Господам хорошо, — приговаривал он, — они могут пить натуральный кофе хоть по три раза в день. А мне приходится довольствоваться суррогатом. Мало того, после кофе они могут позволить себе такую роскошь, как эти ликеры, — и он кивал в сторону полки с ликерами. — Эти бутылки так дороги, что их страшно даже в руки взять. Им все: и кофе, и ликеры, и мягкий диван, на котором можно отдохнуть после обеда, сняв ботинки, чтобы ноги не ныли. А я знай беги к открытию магазина, чтобы поспеть до приказчиков, потому что, если я не приду вовремя или, не дай бог, заболēju, все пойдет прахом.

И он удрученно качал головой.

В те годы я учился в школе попечительского совета.

Несмотря на высокую плату за обучение, отец решил поместить меня именно в эту школу, потому что там учились дети из самых зажиточных семей города, а «у богатых всегда есть чему поучиться», говорил отец.

После уроков, перед тем как идти домой, я заходил в магазин. Я входил, как и дедушка, со двора и тихо говорил:

— Здравствуй, это я!

Меня коробили вечные перебранки отца с дедом. Стоя в дверях, я старался разглядеть деда из-за занавески. Иногда старик был так увлечен своим занятием, что даже не отвечал на мое приветствие.

— Молодец, что пришел, только давай не шуметь, — шептал дедушка, — а то если отец узнает, что ты в подсобке, сразу отошлет домой. Он боится, что ты здесь перемажешься.

Тем временем я взбирался на груды мешков, до самого потолка, и кубарем катился вниз, прямо в объятия деда. Он целовал меня в обе щеки и пичкал растаявшими леденцами.

После того как пришел циркуляр Торговой палаты насчет возможного нормирования продовольственных

товаров, дедушка тоже стал молчаливее и часто надолго задумывался. Я не раз заставлял его на стремянке: он обивал потолочные балки большими листами фанеры. А когда магазин закрывали и оконца, выходившие во двор, занавешивали мешковиной, он закладывал в промежутки между балками и фанерой какие-то пачки, обернутые в пергаментную бумагу. Весь потолок был забит разными продуктами, и немного погодя дед начал долбить небольшие ниши в капитальных стенах, которые затем заделывал тонким слоем штукатурки.

Как-то раз, возвращаясь из школы, я застал на складе дедушкиных друзей. Разглядывая чей-то большой портрет в полный рост, стоявший на ящике с макаронами, они оживленно спорили. В этот момент в подсобку заглянул отец и заорал:

— Здесь магазин, а не казарма!

Таможенники умолкли, а после ухода отца разговаривали шепотом, точно в церкви.

— Ну совсем как живой, — вздохнул бригадир. — Я видел, как он в последний раз проходил по площади Синьоров...

— А у меня его голос до сих пор в ушах звучит, — сказал другой. — Язык у него был здорово подвешен!

Латтанцио протер тряпочкой стекло, смахнул с рамы паутину. Дедушка задумчиво смотрел на пожелтевший запыленный портрет. Я подошел, положил свою сумку деду на колени и потянул его за полу пиджака. Он повернул голову, улыбнулся и, показывая на фотографию, проговорил:

— Это твой прадедушка Марко Серафини, по отцу Апаклето, один из самых замечательных людей, каких я когда-либо знал. Он не оставил нам ни гроша, но человек был что надо, в ножки бы ему надо поклониться.

Когда приятели ушли, дед усадил меня к себе на колени.

*

Прадедушка Марко был щеголем, всегда ходил в темном костюме, с большим черным платком на шее; из расстегнутого сюртука выглядывал красный бархат-

ный жилет; карманы отвисали под тяжестью табакерки и часов с боем. На голове он носил мягкую шляпу, на ногах — массивные башмаки. Кроме этого костюма и этих башмаков, у него ничего не было; вернее, все его костюмы и обувь были одного фасона и одного цвета.

Он появлялся на «Ривьера Берико» близ ворот Монте ранним утром — бодрый, энергичный. В этот час дорога обычно была запружена скотом, который гнали в город на базар. Таможенники у шлагбаума козыряли прадедущке Марко, приветствовали его как важную персону; в ответ он весело махал им рукой.

По мере того как небо светлело, придорожные платаны, сады, огороды и лужайки на холме приобретали четкие очертания, окрашивались в разные цвета. Крестьяне, подгоняя быков, хлестали их кнутами по бокам; те, мыча, нехотя, вразвалку двигались вперед. В воздухе стоял запах хлева, но прадедущка Марко вдыхал его, точно это было благоухание цветов. Пока подгоняемые бичами волы, напрягая мускулы под белой блестящей шкурой, проходили мимо прадедущки, беспокойные глаза его шныряли по рядам, словно в поисках знакомого лица: среди множества заурыдных животных, росших как трава в поле, он отыскивал чистопородного быка и наматывал себе на ус: прадедущке Марко было достаточно взглянуть один раз, чтобы зафиксировать в памяти то, что его интересовало. После чего он быстрым шагом направлялся дальше.

В станционном буфете он совершал торжественную церемонию завтрака: выпивал чашку какао, причем требовал непременно голландского, со сдобными сухарями «Скио». Не спуская глаз с паровозов, скрежещавших под высоким застекленным сводом вокзала и пускавших дым из труб, он макал сухари в густой ароматный напиток.

— На сегодня никаких поездок, синьор Марко? — шепотом спрашивал официант, оглядывая его безупречный костюм. Прадедущка отводил зачарованный взгляд от поездов и улыбался.

— Завтра. Завтра поеду в Падую, а в субботу в Верону, к синьору графу Сегафредо,— отвечал он, вытирая усы, слегка намокшие в какао.

Как правило, прадедушка Марко уезжал из дому на рассвете и не говорил куда. Домашние узнавали о предстоящей поездке лишь по кожаному саквоюжу; но на сколько он уезжал, на день или на неделю, оставалось лишь догадываться. Иногда он вешал на руку палисандровую трость и вместо шейного платка завязывал черный шелковый бант. Он все делал сам, не терпел, чтобы ему помогали собираться в дорогу. Всякий, кто видел, как синьор Марко решительно и гордо шагает по еще пустынным улицам, понимал, что его ждало в то утро ответственное дело и что он полон решимости его выполнить.

Он не был большим любителем путешествовать и, если верить деду, не всегда ездил только по делам. В жилах у него бурлила горячая кровь. Во всяком случае, так говорили в те дни, когда он, спасаясь от царившей вокруг нищеты, устроился на какое-то утлое суденышко и отправился в Америку. Впрочем, не исключается, что он уехал, чтобы избавиться от своей тогдашней пассивности; она была для него сущим наказанием, и он предпочел совершить далекое плавание, нежели глупость. Из Нью-Йорка, где он высадился, он поехал на юг. Сначала батрачил, потом стал каменщиком. Но ни мотыга, ни кирка не были его призванием. Он то и дело менял хозяев и ремесла, работал плотником, был лесорубом. Потом за хорошую плату нанялся к какому-то фермеру сторожить скот. Чтобы побывать в Чикаго и взглянуть на бойни, он заделался кузнецом. С тех пор он возненавидел мясные консервы — варево, кипевшее в котлах, всю эту аппаратуру, отбросы, чудовищную вонь на складах. Он говорил, что нет на свете ничего более отвратительного, чем эти порезанные на кусочки, сваренные и законсервированные трупы животных. Но, нагнавевшись в загонках на тысячи быков и коров, он стал знатоком этого дела: научился отличать породистый скот и определять качество мяса с первого взгляда...

Решив, что этого с него хватит, он с несколькими

сотнями долларов в кармане сел на пароход и вернулся в Виченцу.

По возвращении из Америки Марко Серафини в течение нескольких месяцев предавался таким излишествам, что все вообразили, будто он привез домой несметные богатства. Прадедущка Марко эти слухи не опровергал, а сам тем временем начал посещать ярмарки, рынки скота и стал понемногу продавать крестьянам то, что накопил на чикагских бойнях, всячески давая понять, что он в этом деле большой дока. И действительно, он был, что называется, эксперт, торговый посредник первого сорта.

Он шил себе костюмы на заказ, ходил в дорогих рубашках и в разговорах с сельчанами, дабы произвести на них впечатление, то и дело вставлял американские словечки.

— All right! * — говорил он, заключив сделку. Человек смотрел на него как баран на новые ворота.

— O key, mister! ** — небрежно бросал прадедущка Марко. Долго простояв на солнце, он произносил: «This is a sunny place!» *** — и, оборвав разговор на полуслове, уходил. Собеседники бежали за ним вслед, дергали за рукав, просили изъясняться по-итальянски, назвать свою цену. Но в этот день от него уже ничего нельзя было добиться. Если кто-нибудь продолжал настаивать, он коротко бросал:

— У меня назначена встреча с графом Сегафредо.

Вскоре в таком деле, как торговля рогатым скотом, с ним не мог тягаться ни один маклер. Когда он выбирал быка и начинал его расхваливать, крестьяне и фермеры внимали ему, как проповеднику, читающему проповедь с амвона. Специализировался он, конечно, на мясном скоте. Когда, медленно расхаживая по базару, он останавливался около какого-нибудь быка, вокруг все замолкали. Не вынимая рук из карманов, он мысленно начинал свежевать тушу. Вот передняя часть, вот задняя, тут филе, отбивные, потроха, печен-

* Прекрасно! (англ.) — Здесь и далее примечания переводчика.

** Отлично, мистер! (англ.)

*** Здесь слишком печет солнце! (англ.)

ка, сердце. Он ходил вокруг, ласково ощупывал своими толстыми пальцами бычий круп и живот, осматривал десны, хлопал по упитанным ляжкам и неожиданно по называл цену.

— Ну, что вы скажете?! — восклицал он, обводя присутствующих сияющим взглядом. Покупатели яростно набрасывались с предложениями, орали каждый свое; он бегал вокруг быка, чтобы не слышать первых заявок. Потом хватал быка за рога и, изо всех сил пытаясь наклонить бычью голову, сухо замечал:

— На такой спине хоть капитальную стену возводи, выдержит.

Покупатели ярились еще больше; хозяин быка, возгордившись от похвал эксперта, заламывал цену. Получив то, что ему причиталось за посредничество, прадедуська Марко при неослабном внимании присутствующих переходил к следующему быку.

Из всех маклеров он один умел с первого взгляда отличать «быков господ бога» от всех прочих. Так называли тех быков, которых скототорговцы отдавали на выкорм бедным крестьянским семьям. У тех негде было даже салат посадить, не то чтоб быка прокормить, и они ходили по ночам воровать траву. Потому эту скотину и прозвали «быками господ бога», что пропитание их было в руках божьих. С ними нянчились, как с малыми детьми; не удивительно поэтому, что и ценились они выше других. Прадедуська Марко узнавал их по шелковистой челке, по недоразвитым копытам и по бархатистому подгрудку.

— Скотина мясистая. Мозговая кость у нее душистая: пахнет, наверное, как цветок. Заплатить за нее, дорогие мои, надо хорошо, ведь растили ее в доме, лелеяли, как родную дочь.

К девяти часам утра торг заканчивался. Непроданный скот грузили на широкие низкие телеги, устланные соломой. Крестьяне разбредались по торговым рядам за покупками. Прадедуська Марко направлялся в одиночестве к площади Синьоров, поглядывая дорогой на заваленные товаром лотки, которые бродячие торговцы выставляли в базарные дни вокруг ярмарочной площади. Чего тут только не было! Цепи для

скота, лопаты, мотыги, семена, костюмы из чертовой кожи и вельвета, яркие шелка, плащи, садовые ножи, сладости.

Прадедущка Марко был постоянным клиентом кафе «Соединенные Штаты» — того, что в двух шагах от памятника Андреа Палладио. В первом зале тут возвышалась темно-ореховая стойка, украшенная позолоченными колоннами с капителями из акантовых листьев ручной работы. В витрине стойки были выставлены в ряд большие подносы, на которых лежали ароматные пирожные с кремом и взбитыми сливками, миндальные торты, сент-оноре, пети-фуры, безе с шоколадными украшениями, «искушения» с ликером.

В конце стойки сверкала паровая кофейная машина, распространявшая изумительное благоухание. Это был сложный агрегат, увенчанный орлом; рычаги его щелкали, пар со свистом вырывался из краников.

Посетители сидели в следующем зале и читали газеты. Хотя все они были знакомы между собой, никто к занятому столику не подсаживался, боясь помешать. Официант во фраке двигался легко и бесшумно — разносил напитки и газеты. «Берико», «Гадзеттино» и «Читтадино» переходили из рук в руки — от графа Майно к Луиджи Кавалли, от полковника Ругатиса к нотариусу Никкеле. Прадедущка Марко тоже уделял несколько минут чтению газеты.

Через дверь, которая вела из второго зала в следующую комнату, в полутьме можно было различить зеленое сукно самого большого в городе бильярдного стола, подставку для киев и гнезда для шаров с номерами на костяных пластинках.

Клиенты, посещающие кафе «Соединенные Штаты», отличались друг от друга и по имущественному положению, и по культуре, и по семейным традициям, но сходились в одном: не любили попов и страстно увлекались политикой. Были среди них ветераны военных кампаний; кое-кто из стариков участвовал еще в войнах за независимость. Одному в ранней молодости довелось даже воевать под командованием Гарибальди — в числе «тысячи» погрузиться на судно и пройти вдоль полуострова вплоть до Теано. Однако

Луиджи Кавалли (так звали бывшего гарибальдийца) был человеком сдержанным и никогда о своем прошлом не рассказывал. А ведь история экспедиционного корпуса Гарибальди, на утлых суденышках отправившегося в Сицилию (тогда казалось — на край света!), была даже увлекательнее, чем история Христофора Колумба, который из Палоса взял курс на Индию, чтобы обратить в христианскую веру язычников и добыть для испанского короля золота. Гарибальдийцы же, побывавшие не только в Сицилии, но и в Калабрии, вплоть до Теано, и в Риме, не получили ни гроша, хотя Гарибальди добыл для короля кое-что лучше золота.

Прадедущка Марко любил вспоминать и другой весьма примечательный случай, происшедший в его городе в еще более давние времена. Его словам можно было верить — он знал, что говорит. Впрочем, в ту пору еще были живы некоторые участники событий, воевавшие под началом генерала Дурандо 10 июня 1848 года у Порта Лупиа, у порта Кастелло и у подножия горы Берико. Они могли подтвердить, что когда на башне Пьяццы было поднято белое знамя, то позорный знак капитуляции был обстрелян патриотами.

Там, в зале кафе «Соединенные Штаты», висели в золотых рамках эстампы, напоминавшие об этих событиях. На одном была изображена осада горы Берико, на другом показывалось, как австрийские жандармы кромсают саблями картину Паоло Веронезе «Вечеря», на третьем — как кавалерия Радецкого берет приступом старинные башни Порта Лупиа.

Солдаты, сражавшиеся в этих войнах, были настоящими мужчинами и достойными гражданами, заслужившими всяческого уважения. Позднее они участвовали во многих других кампаниях. Но после их смерти посеянные ими семена отваги и разума были загублены. Жизнь в Виченце пошла вкривь и вкось. Муниципалитет из рук либералов перешел к либералам-католикам. И надо ж было, чтобы они обосновались именно в Виченце! Паоло Лиюй так и писал: «Уж лучше в аду с либералами-радикалами, нежели в раю с вами!» А мэр Дзилери Даль Верме в ответ на

бичующие слова уважаемого ученого ограничился иронической улыбкой. Однако должно же было центральное правительство, узнав о «веселых» делах, которые вершили в Виценце местные власти, принять какие-нибудь меры! (Такой день в конце концов наступил: муниципалитет разогнали, устроили перевыборы, и к управлению пришли новые люди.)

Около полудня кафе пустело и прадедущка Марко, попрощавшись со знакомыми, закуривал свою первую за день тосканскую сигару, направлялся к площади Синьоров и долго, не спеша по ней разгуливал. Она была ему по душе, эта площадь, словно ее камни излучали особое настроение, словно под ними таилось богатство, о котором известно было ему одному. Он останавливался полюбоваться фресками на здании ломбарда, которое тянется вдоль площади, и думал, что только таким мог быть его дом. Шагая взад-вперед по площади и под высокими сводами базилики, он испытывал особое удовольствие: ему казалось, словно он вдруг вырастал, становился вровень с этими арками.

Когда кто-нибудь спрашивал, почему он так любит гулять под арками, он смущенно бормотал:

— Здесь себя чувствуешь, словно в каком-то ином мире, — и пускал клубы дыма из своей тосканской сигары.

С тех пор как умерла его жена, он в полдень никогда домой не ходил. Обед, который готовила сноха, годился разве что для исправительной колонии. От площади он доходил пешком до бойни, где брал извозчика, и ехал в тратторию «Две решетки» до Porta Padova. В этот час грузчики волокли с бойни разделанные туши и грузили их на телеги. Поджидая извозчика, прадедущка Марко с удовлетворением разглядывал мясо быков, которых он сам отобрал утром.

Дирче, до того как она открыла тратторию «Две решетки», была вместе со своим мужем Адуччо Дзанканом владелицей бойни. Дзанкан заболел столбняком и умер. Вдова продала бойню и открыла вместе с Марчеллой, матерью своего работника, тратторию «Две ре-

шетки». От прежней профессии у нее осталось отличное умение разбираться в сортах мяса.

Пользуясь своим опытом, она вкуснее всех в городе готовила мясные блюда. Меню у нее было незатейливое, но продукты первосортные, свежайшие. Впрочем, случись ей угощать особу королевского звания, она бы тоже в грязь лицом не ударила.

*

Было это как-то вечером, в конце лета.

За Порто Монте пахло грушами, яблоками и зерном, сушившимся на гумне. Беломраморное полукруглые лестницы походило на театральную декорацию.

На постоялом дворе «Перчатка» работники чистили лошадей и убирали навоз, когда в ворота въехала огромная низкая телега, которую тащил белый взмыленный жеребец. На таких телегах крестьяне обычно перевозят скот.

Прадедущка Марко, сидевший бочком на оглобле, спрыгнул на землю и, энергично отряхивая с одежды пыль, закричал:

— Джованни, Джованни, смотри, что я нашел! Иди сюда, посмотри! Редчайший экземпляр!

Работники со скребницами, конюхи с вилами, кузнец с клещами в руках выбежали навстречу телеге.

— Ты никогда в жизни ничего подобного не видел, сознайся! Потребовался мой нюх, чтобы откопать такое сокровище!

Черный бык, привязанный пятью цепями, с кольцом в носу, был так огромен, что его мощный круп не помещался на телеге. Бык стоял, полузакрыв глаза, лениво обмахиваясь хвостом, но все чувствовали, что если эта гора мускулов вдруг испугается и шарахнется, то телега разлетится в щепы, как ветхая корзинка от пинка.

Прибежал Джованни; шея его была повязана большим полотенцем, щеки намылены. За ним семенил Кикки, местный парикмахер. Джованни уставился на быка расширенными от страха глазами. Ему было

жаль вспотевшего жеребца. Приблизиться к телеге он не решался.

— Ты обойди вокруг,— посоветовал прадедущка Марко.— Посмотри, какой у него дикий глаз! Он еще долгие годы будет плодить потомство.

В голосе его слышалось такое безмерное удовлетворение, что, казалось, он вот-вот расхохочется от удовольствия.

Джованни прогнал работников со двора, стал кричать, чтобы затворили ворота, а сам, как замороженный, не сводил глаз с быка. Потом он перевел дух и проговорил:

— Но, дорогой мой, я его оставить у себя не могу, даже на одну ночь. Ведь если он сорвется с цепей, он мне тут весь хлев сокрушит, загубит коров и все остальное.

К воротам поглазеть на быка сбежались соседи.

— Это же буйвол,— сказал один.— Разве не видите, какой он черный?

— Вот зверюга!

— От такого лучше держаться подальше.

— Из каких только джунглей он появился...

— Не дай бог такому попасться на дороге: даст рогом в бок — и сразу на тот свет.

В эту минуту бык повернул морду и издал рев, подобный трубному звуку органа. Ему вторило жалобное мычание стоявших в хлеву коров. Джованни, ухватив прадедущку Марко за жилет, захныкал:

— Увези его обратно, Марко. У Джильдо как раз есть для него подходящее стойло.

— Какое там стойло! Поставим его в сарайчик, где ты держишь свою лошадь. Я с ним вместе там и переночую. Я его знаю, это вполне приличный джентльмен.

Прадедущке принесли заказанную им бутылку вина, он стал пить его из горлышка, закрыв глаза; грудь его вздымалась, словно после долгого бега.

Когда откинули заднюю стенку телеги и, придерживая цепи, заставили быка податься назад, прохождение в испуге отпрянули от ворот. Операцией руководил сам прадедущка Марко. Он же подвел быка к кор-

мушке, после чего, обессиленный, бухнулся на солому. Коровы, почуявшие бычий дух, продолжали жалобно мычать. Молча подходили конюхи, подносили на вилах сено.

— Сейчас я тебя ублажу, — сказал прадедущка. Он отошел, приготовил болтушку из листьев от кукурузных початков, намоченных в теплой воде с мукой из льняного семени, поставил ее перед быком, а сам отправился к парикмахеру бриться. Парикмахер, маленький толстый человек в низко надвинутой на глаза фуражке, засуетился вокруг прадедущки Марко.

— Великолепный бык, синьор Марко! Я никогда не видел такой громадины. Где вы его раздобыли? Что это за порода?

— Помолчи, Кикки, знай свое дело — брей! Наодеколонь меня как следует. А о быке речь пойдет не раньше чем завтра.

Когда стемнело, прадедущка Марко распрощался с друзьями, с которыми ужинал в остерии, и пошел спать в сарайчик.

Наутро работникам не пришлось его будить. Чуть свет он был уже на ногах: встал, стряхнул соломинки, приставшие к жилету и брюкам, умылся прямо из поилки для коров и утерся своим цветастым носовым платком.

Бык провел всю ночь стоя: солома была не примята, будто ее только что накидали. Прадедущка вошел к нему, тихонько посвистывая, чтобы задобрить, и потрепал по холке.

— Послушай, арап, — говорил он, — я ездил за тобой за тридевять земель. Я разобьюсь в лепешку, но сегодня премия достанется тебе, иначе мне здесь больше нечего делать. Впрочем, когда судьи тебя увидят, у них от страха штаны будут мокрые...

Пока бык ел кукурузные листья, прадедущка почистил скребницей его упитанные бархатные ляжки и украсил хвост трехцветными бантами.

— Джованни, — крикнул со двора прадедущка Марко, щелкая хлыстом, — дай мне двух работников. Я хочу идти с ним пешком до самой выставки.

Джованни с балкона отвечал, что этого быка через

город можно провезти лишь в клетке на колесах, как возят цирковых львов, и что работников он не даст, потому что сегодня восьмое сентября, самый большой праздник в городе; скоро на постоялом дворе негде будет повернуться — столько наедет лошадей и повозок.

— Если ты мне не дашь работников, я на ярмарке всем расскажу, как ты испугался этого ягненка.

— Ладно, забирай и конюхов впридачу! — заорал Джованни, бегая по двору в незаправленной в брюки рубашке. — Только избавь меня от своего быка! Я сегодня всю ночь не спал, все думал: а ну как он, почуя, что коровы рядом, проломит рогами стену... Сарай же рассыпался бы как карточный домик!

Тем временем на постоялый двор съезжались повозки, коляски, тележки с крестьянами, приехавшими в город по случаю большого престольного праздника. Церкви звонили во все колокола.

Прадедушка Марко заперся в сарае. Работники, следившие за ним в щелку, сообщили, что он беседует с быком, трет ему спину пучком соломы, что-то шепчет на ухо. Возможно, он уговаривал быка, чтобы тот не выкинул какого-нибудь коленца на главной улице, предупреждал его, что, дескать, я сам там буду, а со мной шутки плохи.

— Чего он еще дожидается? — чуть не плача причитал Джованни, стоя под навесом, где провела ночь его выселенная из сарая лошадь. Она жалобно ржала, то ли оттого, что ей не давали овса, то ли от ревматических болей, обострившихся от ночной сырости.

— Вот вызову карабинеров, они его вытурят отсюда силой, — грозился Джованни.

Наконец бык, прадедушка Марко и два работника вышли из сарая.

Мостовая на проспекте Принца Умберто была разворочена: проводили трамвайную линию. Бык шагал степенно, медленно переставляя свои массивные копыта, и при каждом ударе кнута, щелкавшего в руках проезжавших извозчиков, поднимал уши. Прадедушка шагал рядом, держа в руке лишь цепь от кольца, продетого быку через нос. Не исключается, что он поти-

хоньку нашептывал быку что-нибудь успокаивающее. Краем глаза он следил за его зрачками и поглядывал на уши.

Двое работников шли на некотором расстоянии, по бокам от быка, держа на плече по хлысту.

Спешившие на ярмарку крестьяне и патрули карабинеров в парадной форме загрохотали все тротуары главного проспекта. Конные офицеры, держась в седле прямо, точно проглотив аршин, лавировали между извозчиками.

Проходя под аркой ворот Каstellо, прадедущка Марко увидел своего сына, который по праздникам дежурил в городе. Поравнявшись с ним, прадедущка проворчал:

— Тебя сделали капралом только за то, что ты красивый парень.

Поглощенный быком, он даже не снял шляпу в ответ на приветствие сына и всех остальных таможенников.

Вот наконец и привокзальный бульвар, слева от которого находится загон и ложа, где по случаю выставки и конкурса породистого скота собрались местные власти. Прадедущка Марко, наверное, даже не слышал, что оркестр в кафе «Мореско» играл вальс из «Веселой вдовы», не видел кавалерийских офицеров, гарцевавших по широкой платановой аллее бульвара, не замечал сидевших на козлах извозчиков, которые выстроились в ряд вдоль тротуаров и зевали, почесывая кнутами лошадиные крупы.

Подойдя к загону выставки, прадедущка Марко с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. На выставке-конкурсе быков, которую «Передвижная кафедра сельского хозяйства» проводила для того, чтобы с помощью новых пород оздоровить ослабленный болезнями скот, он увидел не более двадцати конкурентов. Половина из них была отечественного происхождения, еще молодые бычки; остальные, хотя и достигли полного развития, были на добрых четыре пяди короче прадедущкиного быка.

Возбужденные жарой, сутолокой и музыкой, быки мычали и гроыхали цепями, которыми они были при-

вязаны к вкопанным в землю кольцам. В глубине аллеи, сопровождаемый муниципальными советниками и членами жюри, появился мэр. Он был в цилиндре, с трехцветной лентой через плечо. Оркестр заиграл марш из «Аиды», и публика, хлопая в ладоши, устремилась к ложе. Тогда мэр, сняв цилиндр, приветственно махая им в сторону присутствующих, вошел в ложу. В своей весьма невразумительной речи он говорил о болезнях, поражавших скот, об антисанитарных условиях в хлевах и об общей отсталости итальянской деревни. Говорил о богатых имениях и их скупых хозяевах, а также о неспособности крестьян модернизировать технику сельскохозяйственного производства. То, что родит земля, принадлежит всем, вещал он. Доходы от земледелия таковы, что рачительные хозяева вполне могут помышлять о перестройке. Надо производить больше, чтобы обеспечить изобилие зерна. Хлеб пока что дорог, цена на него должна быть снижена. Мясо тоже еще дорогое. Значит, надо, черт возьми, заполнить хлева скотиной! Короче говоря, надо пошевеливаться. Времена изменились. Сознание, что все люди братья, вошло в нашу жизнь как животворное начало.

Время от времени кто-нибудь прерывал его речь аплодисментами. Крестьяне, сами не зная почему, тоже хлопали. Прадедущка Марко слушал речь, а сам незаметно поглядывал вокруг. Вскоре он спохватился, что оба работника куда-то исчезли. Оглядываясь, он заметил, что управляющие имениями и богатые крестьяне делили свое внимание между выступавшим мэром и его быком, о чем-то тихо переговаривались.

Мэр еще не кончил своей речи, когда директор бойни, директор ярмарки рогатого скота и главный ветеринар провинции, составлявшие жюри, вышли из ложи и, приступив к осмотру животных, тотчас пришли в состояние крайнего волнения. Они сказали два слова прадедущке Марко, тот приподнял шляпу в знак согласия. В этот момент бык издал громовое мычание, подобно басу на оперной сцене, причем смодулировал его на трех нотах, как вокализ в финале арии. Раздался взрыв аплодисментов и возглас:

— Браво!

Мэр тоже обернулся на бычий рев и потерял дар речи. Снова раздались аплодисменты, и жюри, поднявшись в ложу, объявило о своем решении.

Бык прадедушки Марко получил первую премию и был тут же обещан графу Сегафредо. По-видимому, между прадедушкой и графским управляющим уже была договоренность. За воротами выставки быка уже поджидала телега.

Мэр не столько надел, сколько набросил быку на шею большой лавровый венок, перевязанный лентами тех же цветов, что и городской вымпел. Прадедушке Марко досталась золотая медаль. Он уже совсем было собрался прикрепить ее к лацкану пиджака, как вдруг появились пропавшие работники. Тогда он вложил медаль обратно в кожаный футляр и сказал:

— Вручите ее от моего имени своему хозяину и скажите, что я ему дарю ее за проявленную смелость. Впрочем, он на своем постоянном дворе уже никогда ничего подобного не увидит.

Наступил день, праздник кончился. В воздухе стоял терпкий запах хлеба, мычание быков становилось все оглушительнее. Некоторые посетители выставки еще заключали сделки, крича, как в водевиле. Из кафе «Мореско» доносились громкие звуки залихватской мазурки.

Отправив быка графу Сегафредо, прадедушка Марко взял управляющего графа под руку и пошел с ним в кафе «Соединенные Штаты». Проспект был запружен извозчиками; по тротуарам двигались толпы прохожих.

— Знаете, я еще не завтракал,— объяснил прадедушка Марко.— Бедняга, я сыграл с ним неплохую шутку, с этим хозяином заезжего двора,— добавил он, смеясь и утирая потное лицо необъятным носовым платком.

Он остановился около афиши городского театра и прочитал: «Внеочередное представление оперы маэстро Петреллы «Иона». Действующие лица и исполнители...»

— Я вас приглашаю в оперу, синьор управляющий.

Приходите сегодня вечером в соответствующем костюме. Буду ждать вас у входа в театр.

Как раз в те дни в городе впервые появилось электрическое освещение. Приехав вечером, чтобы идти в театр, управляющий, одетый в свой лучший костюм, брел по главному проспекту, прижимаясь к стенкам домов и с удивлением глаза на большие белые лампы.

От радостного изумления при виде этого живительного света, изменившего облик домов, медленнее обычного двигались и извозчики по мостовой, и прохожие вдоль тротуаров. Блестела сбруя на извозничьих лошадях, сверкали сабли кавалерийских офицеров. Подворотни казались темнее, а удлинненные тени, отбрасываемые на фасады домов статуями, составляли резкий контраст с этим магическим искусственным светом. Люди как будто даже разговаривали громче обычного.

Пока управляющий добрался до театра, он почти оглох и тер слезившиеся от непривычно яркого света глаза.

Окинув взглядом театр и увидев поток красиво одетых господ, спешивших к началу спектакля, он остановился поодаль. В театре он никогда не был, даже близко к театральному подъезду не подходил и теперь, щурясь, старался не пропустить синьора Марко. Заметив экипаж графа Сегафредо, он спрятался за фонарь. Граф в сопровождении жены и сестры вышел из экипажа, секунду помедлил, оглянулся и вошел в фойе. Увидев сестру графа, управляющий удивился. Она жила в имении по несколько месяцев в год, но очень редко показывалась на глаза крестьянам, проводила целые дни у себя в комнате, выходившей окнами в парк, в обществе своей городской горничной.

Прадедущка Марко приехал на извозчике. На нем был узкий в бедрах черный сюртук с длинными лапашами, доходившими ему до колен, узкие в дудочку брюки и круглая шляпа табачного цвета, которой управляющий ни разу на нем не видел. Эту шляпу прадедущка Марко привез в свое время из Америки. Управляющий смотрел на нее с восхищением. Выйдя на середину тротуара, он бросился прадедущке Марко навстречу.

В театральном подъезде толпились господа и нарядные дамы; прадедущка с большим достоинством пробирался сквозь эту толпу, то и дело приподнимая свою странную шляпу и размахивая палисандровой тростью, точно шпагой. Время от времени он оборачивался и просил управляющего не отставать, чтобы люди не подумали, что он — слуга. Но тот, бок о бок с господами, чувствовал себя не в своей тарелке; у него кружилась голова. Он видел, что прадедущка повернулся в сторону ложи графа Сегафредо и слегка поклонился ему. Он боялся упасть. Ему было жарко, он задыхался.

Опера была поставлена плохо, и прадедущку раздражало, что вокруг перешептывались. Галерка освистала примадонну и баса. Лишь когда тенор пропел арию «О Иона, свет души моей», раздались жидкие аплодисменты, никем, однако, не подхваченные.

Управляющему пришлось уйти до конца представления. Постоялый двор закрывали рано, а добираться к себе в деревню ночью он не хотел. Вернее, ему попросту было скучно; а может быть, он мучился от духоты. По его словам, он видел, как граф Сегафредо несколько раз бросал в его сторону укоризненные взгляды.

Прадедущка Марко засмеялся и отпустил его во свояси.

После театра, проходя мимо прадедущки, граф сказал:

— Завтра утром жду вас у себя.

Прадедущка снял шляпу, поклонился и ответил:

— Не беспокойтесь, буду непременно.

Прадедущка Марко был правой рукой графа Сегафредо. Благодаря его стараниям графское хозяйство расцвело как сад: были посеяны новые культуры, вырыты артезианские колодцы, прорыты оросительные каналы. На фермах выращивали только породистый скот.

Прадедущка Марко с графом садились в коляску и подолгу разъезжали по полям. Иногда для обсуждения какого-нибудь нового проекта прадедущка вечером отправлялся к графу в усадьбу. Постепенно он

стал своим человеком в доме; к нему привязались и старый граф, и графиня — маленькая бессловесная женщина, которая либо молча слушала их разговоры, либо незаметно исчезала. Как-то раз вечером соблаговолила выйти к столу и сестра графа.

По-видимому, ей хотелось взглянуть на человека, чье имя то и дело упоминалось в доме. Она походила на графа. Замкнутая и рассеянная, Эльвира говорила приятным грудным голосом, который как-то не вязался с ее немного высокомерным видом, и обращалась на «вы» даже к брату, как если бы он был ей отцом.

Ей было, должно быть, немногим более тридцати пяти лет. Признаки уже зрелого возраста выступали явственнее оттого, что у нее было бледное лицо и бесцветные волосы, а также оттого, что она была всегда одета в строгое, почти монашеское платье. С прадедушкой она ни разу не заговорила; он тоже не обращал на нее внимания, ограничиваясь кивком головы. Впрочем, он к мнению женщин вообще никогда не прислушивался, а дела, которые они обсуждали с графом, как он полагал, давно не требовали их участия.

Но он ошибался.

Через несколько дней Эльвира поехала с ним взглянуть на крестьянские дома. Она не вышла из коляски до тех пор, пока все не осмотрела и не пометила в записной книжке, с дотошностью, которая прадедушке Марко показалась даже чрезмерной. Потом не появлялась несколько дней. Уже от графа прадедушка Марко узнал, что синьорина Эльвира вручила брату пространную памятную записку о санитарных условиях, в каких находятся фермы, с перечнем того, что необходимо сделать для благоустройства крестьянских домов.

Прадедушка прочитал памятную записку и сказал графу, что сестрица его совершенно права.

Граф ответил:

— Я уже много лет пытался ее чем-нибудь заинтересовать, так что можете себе представить, как мне это приятно. Сделаем все, что в наших силах. Кстати, ведь раздел имения еще не состоялся.

Как-то раз синьорина Эльвира сказала:

— У вас добрая душа, синьор Марко.

Он снял шляпу.

— Некоторые вещи, — продолжала она, — надо видеть собственными глазами, иначе их трудно понять до конца.

— Правильно, — подтвердил он.

— Знаете ли вы, как мы, католики, именуем свое безразличие? Нерадивостью.

На что прадедусшка Марко ничтоже сумняшеся сказал:

— А быть может, это невежество?

Она вспыхнула, но прадедусшка не дал ей времени возразить.

— Поверьте мне, — продолжал он, — знать, что все идет вкривь и вкось, нелегко. Путь к этому знанию тернист, и, чтобы его пройти, надо иметь мужество. Я говорю о положении дел в таких больших семьях, как ваша, имеющая многолетнюю историю. И чтобы привести дела такой семьи в порядок, подчас требуются невероятные усилия.

Они шли по аллее парка — синьорина чуть наклонив вперед голову. Прохладная тень от деревьев была того же цвета, что и листья.

— Как жаль, что интерес к деревне не возник у вас раньше. Может быть, вы бы уже многое узнали, — говорил ей прадедусшка Марко. — Мне было бы приятно преподать вам эту науку.

Они шли медленно, соразмеряя шаг.

— Не могу сказать, что я знаю много, но то, что я знаю, я бы вам передал. Вовсе не так уж весело все держать при себе. У господина графа свои, весьма почтенные идеи, но, по нынешним временам, они устарели. Эх, дали бы мне волю с самого начала! Я бы превратил эти места в рай земной...

Рассказывая эту историю, прадедусшка Марко здесь ставил точку и понуро опускал голову, поясняя, что к этому времени вся работа в имении закончилась.

После он ездил туда редко и только по приглашению.

В голове уже роились другие мысли — о новых де-

лах и новшествах. «Новшество» было его любимым словом. Новые земли, разведение новых пород скота, орошение земель... Преобразовать крупные хозяйства... Сумбурная речь, которую произнес мэр в памятное утро награждения знаменитого быка, засела у прадедушки в голове: он перекроил ее на свой лад, привел в стройную систему — в соответствии с собственной логикой, которую другим людям было не понять. Он снова вспоминал о землях, которые видел в молодости на севере Соединенных Штатов: необозримые просторы, бесчисленные стада в прериях. Вот это — его масштабы. Вот бы где он развернулся... Там, где высокое небо и необъятная тишина ночей, ветер, который метет поземкой и валит деревья. Вот для какого мира он был создан. Но женщины, которой была бы по плечу такая жизнь, не существовало на свете.

*

Между прадедушкой Марко, моим дедом и моим отцом не сложилось хороших отношений. Образ жизни старика, врожденная способность все делать с размахом, его неистовость и экспансивность вызывали у сына и внука глухое раздражение.

Дедушка, капрал таможенных войск, во главе команды из пяти человек проверял и облагал пошлиной товары, прибывавшие в город по реке Астикелло, на таможенном пункте Сан Бортоло. Там стояла заросшая плющом и мхом деревянная будка, откуда приводилась в движение лебедка, которая то поднимала, то опускала бакены, преграждавшие путь баркам, груженным вином с холмов Барбарано и зерном из деревень вокруг Виченцы. Пока его подчиненные досматривали товары, дедушка бросал по сторонам пронизывающие взгляды, кривил губы, хмурил лоб и, сжимая рукоятку шашки, торжественно расхаживал по пристани. Когда лодочники подносили таможенникам тыквы с вином или пару колбас, он смотрел на это притворно пренебрежительным и в то же время алчным взглядом. Если, воспользовавшись каким-нибудь предлогом, главному на барже удавалось поднести начальнику кружку вина,

дедушка степенно принимал угощение. Лоб его понемногу разглаживался, стеклянные глаза влажнели и под личиной служаки, опасавшегося нарушить профессиональный долг, обнаруживался трусливый и жадный человек. Будь таможенный пункт поближе к дому, он тайком от подчиненных, конечно, унес бы свою долю вина и колбасы. Слегка охмелев от нескольких добрых кружек выпитого на пустой желудок вина, он откладывал свои планы до прихода следующей баржи. Никто из таможенников не видел, чтобы он истратил хоть один центезимо. Каждую субботу дедушкина жена отбирала у него конверт с жалованьем, оставляя лишь немного мелочи, чтобы он мог уплатить за место в церкви во время воскресной мессы.

Прадедущке Марко сноха не пришлось по вкусу с первого же дня. После смерти прабабушки в доме на Кончимайе хозяйство вела жена железнодорожного обходчика с Порто Монте, приходившая на несколько часов в день. Сноха тотчас дала старику понять, что в доме появилась хозяйка, и стала проявлять к свекру больше внимания, чем к мужу.

В полдень, взяв корзиночку с обедом для мужа, она бежала трусцой на таможенный пункт, после чего спешила домой ждать прадедущку и не гасила плиту, хотя знала, что он вернется не раньше чем к ужину. Вечером она наливала ему свежей воды в графин и ставила на тумбочку блюдце с сахаром, а если ночью слышала, что он кашляет, стучала в дверь его комнаты, спрашивала, не холодно ли ему и не приготовить ли липового отвара.

В конце концов настырность снохи привела старика в крайнее раздражение. Обнаружив, что в его отсутствие она шарит по ящикам, в которых он держит свои бумаги, он запер все шкафы на ключ.

Из-за снохи он стал с презрением относиться и к сыну. Когда прадедущка Марко видел, как сын в праздничные дни входит в кафе «Соединенные Штаты» явно без гроша в кармане, ему хотелось встать и надавать ему пощечин. Вместо этого он делал вид, что погружен в чтение газет. А тот садился за столик и как ни в чем не бывало заказывал стакан воды. Зная, что он сын

Марко Серафини, официанты послушно выполняли заказ, а то непременно прогнали бы такого посетителя вон.



Отец выходил из дому на рассвете и, перекинув ботинки через плечо, отправлялся в депо «Трамвие вичентине», где работал кочегаром. Первым делом он ложился под паровоз и собирал банки с машинным маслом, расставленные накануне вечером там, где больше всего капало. Точь-в-точь как рыбак, снимающий поутру верши. Затем он фильтровал масло и принимался за смазку машины. Другие кочегары только являлись на работу, а паровоз номер 502 уже стоял под парами, готовый к первому рейсу Виченца—Монтаньяна. Ровно в шесть утра составчик проходил по мосту Астикелло, позади таможенной будки. Энергичным рывком дощаты отец сбрасывал большой кусок угля, который катился по откосу к реке, до самой пристаньки. Дежурный таможенник его припрятывал, а отец после работы заходил на пост, заворачивал кусок угля, как буханку хлеба, в бумагу и уносил домой.

В семь часов вечера отец, сын и внук садились за стол. Час ужина был установлен прадедушкой в незапамятные времена, и все строго соблюдали заведенный порядок. Прадедушка Марко ел мало, медленными глотками выпивал несколько стаканов вина и, вынув из кармана газету, принимался читать. Это чтение газет казалось всем излишней роскошью — никто не мог понять, что он находит в нем интересного.

Прадедушка умер в сентябре 1930 года, возвращаясь домой через поле Нане. Он упал на траву как подкошенный, запрокинув голову. Апоплексический удар. Люди, обнаружившие труп, рассказывали, что глаза его были открыты, усы торчали в стороны. В ящике тумбочки лежал конверт с деньгами на похороны и указанием ограничиться гражданской панихидой. Тысячу лир он оставил для кассы взаимопомощи, членом которой состоял, и сто лир — для надгробной плиты из сенго-тардского гранита, на которой не велел делать никакой надписи, кроме имени и фамилии.

Через несколько недель после его смерти дед продал дом на Кончимае и нанял небольшую квартиру в городе, в рабочем квартале, на пыльной улице, где не было ни садика, ни цветов, а воздух был отравлен дымом и газом.

*

Однажды утром отца привезли домой на скорой помощи: он попал под паровоз и ему раздробило ноги. Машинист пустил поезд в то время, как отец, лежа под котлом, собирал свои баночки с машинным маслом. Несколько дней он терпел жестокую боль, отказываясь от больницы, где, по его словам, его бы загубили, и пил настои, которые готовила ему бабка. Лечивший его врач неодобрительно качал головой, не понимая причины такого упрямства. Наконец наступил день, когда отец в бреду потребовал, чтобы приехала скорая помощь и увезла его в больницу. В больнице он пролежал два месяца, тяжело страдал, все время метался в жару. В бреду он перечислял названия городов, где останавливался его поезд, махал руками воображаемому начальнику станции, который давал сигнал к отправлению, разговаривал с машинистом.

— Чувствуете, какое давление? За пятнадцать километров я сэкономил десять лопат угля. А что я имею за это? Грошовую премию. Вы скажите инженеру, как добросовестно я работаю.

Когда отец вышел из больницы, дедушка уволился с таможенной службы и без всякой охоты пошел работать — помогать отцу в продовольственном магазине. Отец остался калекой на всю жизнь: ноги и позвоночник были изуродованы.

*

Как-то летом от запаха мокрой трески, рассола, керосина, сыра и кошачьей мочи меня затошнило. Мать дала мне слабительного — решила, что я испортил себе желудок. Но стоило мне снова побывать в магазине, как это повторилось. Почему же десятки людей — коммивояжеры, кредиторы, должники, приказчики, таможен-

ные инспектора — как ни в чем не бывало часами нюхают эту вонь... Особенно тяжелый смрад стоял там к концу дня летом; казалось, он растекается жирным слоем по лицам, одежде, стенам, полу... Но дольше и охотнее всех вдыхал этот отвратительный запах мой отец. От него всегда пахло селедкой и потом, я не мог сидеть с ним рядом. Я злился, когда он должен был расписываться под моими отличными отметками и похвальными отзывами, потому что после этого на тетрадях оставались масляные пятна. Он ощупывал аккуратные страницы школьного дневника и с гордостью демонстрировал их представителю «Мясного экстракта Либига» или приказчику из оптового магазина колбасных изделий, входившему с охалкой свиных сосисок. Размахивая перед их носом моим дневником, отец говорил, что скоро его прихода-расходные книги будут содержаться в таком же идеальном порядке, как эти тетради. Из-за этих пятен, издававших невыносимо противный запах, я плакал и, сидя на груде мешков, пытался стереть их носовым платком, но они расплывались еще больше. Дома вечером мне было жалко мать, которая без конца подогревала суп: отец с дедом никогда не возвращались вовремя. А появляясь на кухне, швыряли свои засаленные картузы прямо на скатерть и, не сказав ни слова привета, набрасывались на еду.

Магазин я возненавидел.

Я часто спрашивал себя, мог ли я тогда поступить иначе, чем я поступил. Я оглядываюсь назад и кроме магазина вижу только двор попечительского совета, где мои товарищи яростно гоняют мяч. Лето было знойное; я сидел, разморенный, под навесом и смотрел то на мяч, летавший от одного мальчишки к другому, то на свинцовое небо. Иногда я забирался в церковь — там было прохладно и легче дышалось. Я сидел в углу и смотрел по сторонам, ни о чем не думая, так, лишь бы провести время; за окном темнело, небо становилось синим. Именно в то лето нашелся человек, который обратил на меня внимание.

Отец Сильвио был высокий седой старик с худыми, но ласковыми руками, как бы созданными для того, чтобы держать святую облатку. Лицо у него, казалось,

было покрыто восковой пленкой, которая защищала его от разрушительного действия времени и делала похожим на лик святого. Оно и впрямь напоминало застывшие лица — маски великомучеников, покоившихся под главным алтарем церкви святого Лоренцо, умерших давно, много веков назад, а может, и недавно. Его ряса издавала тот же запах воска, льняного полотна и ладана, который исходил от парчи, покрывавшей бранные останки великомучеников. Не знаю, что именно притягивало меня к нему, — этот запах или чувство восхищения, которое он мне внушал, или же попросту мысль о ненавистном запахе отцовского магазина, от которого мне становилось дурно.

Священники жили в небольшом желтом домике в саду, отделенном от двора, в котором мы играли, длинным деревянным забором.

— Это Беато Серафини, сын нашего поставщика, весьма рассудительный отрок, — говорил отец Сильвио другим наставникам, наблюдавшим каждый вечер, как я семенял за своим учителем с объемистыми пачками тетрадей в руках. Я краснел, а отец-директор, глядя меня по голове, продолжал:

— Кто знает, быть может, в лице этого ученика господь бог готовит нам приятный сюрприз. Иди и не расточай понапрасну сокровища души своей.

Сад вокруг церкви простирался вплоть до дугообразной насыпи высотой в несколько метров, поросшей душистым мхом и травой и выходившей к реке, спокойной и зеленоватой от множества водорослей. Отец Сильвио к концу дня иногда отправлялся туда посидеть с удочкой. Примостившись рядом, я держал банку с наживкой. Отец Сильвио говорил о рыбах, о том, что и Иисус их любил — настолько, что некоторые из своих чудес творил с их помощью. Я сидел, уставившись на поплавок, — его то относило течением, то теребила поклевкой голодная рыбешка. На противоположном берегу в спокойную гладь речного потока, преграждаемого выше по течению небольшим островом, густо поросшим камышом и бузиной, погружало свои огромные ржавые лопасти мельничное колесо. По ту сторону тенистой, обсаженной каштанами дороги, среди могучих черных

стволов виднелся зеленый купол небольшого храма в неоклассическом стиле. Храм стоял посреди курчавой зелени парка Куэрини. Такой я представлял себе райскую кущу...



Война была еще где-то далеко-далеко; о ней напоминали лишь продовольственные карточки, затемнение и бомбоубежища. Впрочем, что касается бомбоубежищ, то о них пеклись только отряды ПВО, которые были обязаны содержать их в чистоте. Во время редких воздушных тревог в убежище удавалось загнать разве нескольких старичков, которые не находили в себе силы возразить, что дома, улегшись на пол возле капитальной стены, они чувствовали бы себя в большей безопасности, нежели в таких мышеловках, как эти подвалы.

Отец в своем магазине чувствовал себя, как в железной бочке. Над ним было еще четыре этажа, защищающих не хуже, чем склон большой горы; внешние стены дома были так толсты, что обрушиться они могли разве что от землетрясения.

— Предположим, что нынешние бомбы больше тех, что сбрасывали во время первой мировой войны,— растолковывал он представителю фирмы колбасных изделий, подсмеивавшемуся над излишней уверенностью отца в своей безопасности.— Прежняя бомба пробила бы крышу и взорвалась бы на пятом этаже; теперешняя, может быть, дошла бы до третьего. Какая же нужна бомба, чтобы пробить еще один этаж и этот потолок?! Вы только посмотрите, дорогой мой, какие балки! Дубовые. К тому же учтите, что я тут защищен ящиками, мешками, бутылками с оливковым маслом. Как только раздастся сигнал воздушной тревоги, я, никуда не выходя, ложусь на пол. Воздушной волной может распахнуть дверь, а во время бомбежки воры только и смотрят, чем бы поживиться. Если же дела пойдут хуже и противник решит позабавиться ночными налетами, придется всем ходить ночевать сюда, как в убежище. Насчет затемнения можно не беспокоиться: через эти ставни свет не проникает.

Как только на улице темнело, отец гасил половину

лампочек и занавешивал окна выкрашенной в черный цвет мешковиной, после чего отправлялся во двор — проверить, не видно ли света.

Если я долго не приходил, дома беспокоились. Отец звонил в школу и говорил:

— Это только из-за матери. Ты должен возвращаться домой засветло. Ты же знаешь, она сидит целый день одна и, когда тебя долго нет, начинает волноваться.

Сидя на траве на берегу реки, я чувствовал бархатистое прикосновение ветерка, похожее на нежный массаж, возвращавший оцепеневшее тело к жизни. Какой-то рыбак остановил свою лодку посреди реки и большой сетью (величиной с абсиду нашей церковки) безуспешно пытался что-нибудь выловить. Я ложился на бок, рассматривал рясу отца Сильвио, сшитую, должно быть, из добротного тонкого сукна, и прикидывал, сколько она могла стоить.

*

По воскресеньям после обеда отец уже больше не ходил в магазин заниматься еженедельной инвентаризацией, вытряхивать из мешков остатки сахарного песка и просеивать их через сито.

Три года войны и карточной системы опустошили магазин. Там, где некогда громоздились ящики с макаронами из белой муки, мешки с рисом и бутылки с оливковым маслом, сейчас стояли картонные коробки с ломкими серыми макаронами, прогорклое растительное масло, мелкий рис. От одного вида талонов продовольственных карточек, пачечками уложенных в том самом ящике, где когда-то хранились изюм, марципаны и засахаренный миндаль, отец приходил в бешенство. Теперь он пристрастился ходить в школу. Или же садился на велосипед и, скособочившись над рулем, колесил по безлюдным улицам. Зная свою неповоротливость, он боялся, что по дороге его застанет воздушная тревога и он не успеет добраться до магазина. Иногда он подолгу шел пешком, ведя велосипед рядом: надо было экономить покрывки, новые стоили втридорога. Так, волоча за собой свой проржавевший велосипед, он брел

по улицам, иногда останавливался побеседовать насчет урожая картофеля, взглянуть на опустевший дом, на военные огороды, где копошились куры и гуси, которые в ту пору ценились больше, чем породистые собаки или кошки.

— Сейчас, дорогой Манни, надо сидеть смирно и не рыпаться, — говорил он одному знакомому. — Какой смысл ломать себе голову по поводу долгов, векселей, кредитов? Налетит самолет, сбросит свои бомбы — и ищи-свищи, кто тебе должен... Ты им больше не нужен. А те, кому должен ты, пусть идут и роются в развалинах и дело с концом. К вашим услугам, синьор Манни. Надеюсь, завтра увидимся, если, конечно, господу богу будет угодно, а если нет — ничего не поделаешь...

Он настолько пристрастился к этим нескончаемым разговорам, что, найдя собеседника, не мог остановиться. По-видимому, он полагал, что высказываемые им мысли достойны запоминания и применения на практике.

По воскресеньям, после обеда, на школьном дворе происходили многочасовые футбольные матчи.

Команды из ребят, обутых в рваные башмаки, бездумно гоняли заплатанный мяч, как будто войны, голода, карточек, черного рынка, бомбоубежищ не было в помине.

Вокруг футбольного поля орали сотни глоток. Мой отец, ведя за руль велосипед, протискивался через толпу зрителей и, облокотившись на велосипедную раму, наблюдал за игрой.

— Ты только посмотри, что святые отцы здесь устроили, — обращался он к соседу. — Фашистам, чтобы согнать нашу детвору на субботний митинг, приходится прибегать к угрозам, наказывать, а этим стоит распахнуть ворота, как от ребят отбою нет, сами сюда рвутся!

Сосед его не слушал, но отец, не смущаясь этим, продолжал рассуждать.

— Отец-эконом задолжал мне кучу денег. Но, помоему, это его нисколько не тревожит. Вон он, судьей у них, резвится и в ус себе не дует. Да и остальные тоже. Стол им обеспечен. Если появляется нужда в обуви или одежде, всегда найдется кто-нибудь, кто сделает подношение, а если нет, отец-эконом достанет, а рас-

плачиваться будет, когда ему вадумается. Они горя не знают, не то что наш брат — семейный человек. Нам надо детей растить.

Мальчишки гонялись за мячом, лупили по нему как одержимые. Зрители вопили. А отец все продолжал беседовать с соседом, не желавшим его слушать.

— Если бомба попадет в твой дом, тебе придется идти ночевать в школу или в лавку. Если же рухнет молельня, то святые отцы соберут вещички и поедут в Милан, Турин, Венецию, где есть такие же коллегіумы. Ясно, что тем, кто состоит в какой-нибудь организации, легче живется на свете.

Вернувшись домой, он сядилса за стол. Тут уж он вовсе не знал удержу, превозносил святых отцов до небес.

— Мы живем так, как будто никакой карточной системы не существует, потому что ключи от магазина лежат у меня в кармане. Но к каким ухищрениям мне приходится прибегать, чтобы мы могли сносно питаться! А у святых отцов есть все, что им надо. Если они едят черный хлеб, то не потому, что у них не хватает белого, а потому, что выполняют епитимью. Почему бы тебе, Беато, не наняться к ним привратником или служителем? Ты же все время у них на виду. Отметки у тебя хорошие, а начинать надо всегда с малого. Если ты придешься им по душе, тебе может повезти.

Я склонял голову над тарелкой супа, краснел и не знал, что ответить.

По мере того как учебный год близился к концу, отец Сильвио все чаще задерживал меня в школе. Как-то раз он спросил, задумывается ли отец над моим будущим, говорит ли он со мной на эту тему.

— Мне бы хотелось учиться дальше, — ответил я, — но отец рассчитывает, что я скоро смогу помогать ему в магазине. Или же что вы оставите меня у себя служителем.

— Ты не создан ни для того, ни для другого. Тебе надо учиться. Будет жаль, если тебя заставят работать руками, а не головой.

Я почувствовал, что краснею. Сердце застучало часто-часто.

— У нас есть коллегиумы, куда мы принимаем таких, как ты, отроков в добром здравии, поистине благочестивых. Если они делают успехи в учении, то мы побуждаем их учиться дальше. Если мы обнаруживаем у этих юношей склонность к служению господу богу, мы направляем их в свои учебные заведения, где они продолжают образование. Мне кажется, ты нам подходишь. Я хочу поговорить об этом с твоим отцом.

Я так никогда и не понял, что за комедию разыграл тогда мой отец. Сначала он сказал, что не хотел бы отпускать сына далеко от дома, особенно в такое смутное время; к тому же платить за учение ему нечем.

— Кроме того,— заявил он в заключение,— ты еще мал.

— Синьор Серафини,— возразил отец Сильвио.— Денег понадобится немного. Давайте пошлем его пока в коллегиум, чтобы он получил среднее образование. Если ему там не понравится, он вернется домой. При желании он сможет продолжать образование в нашей системе. У нас дело поставлено серьезно: латынь, например, наши ученики знают наизубок, как «Отче наш».

— Это мне известно,— одобрительно подхватил мой отец.— Вы, священники, дадите сто очков вперед всем фашистским руководителям, вместе взятым: Но надо послушать, что скажет сам Беато и его мать.

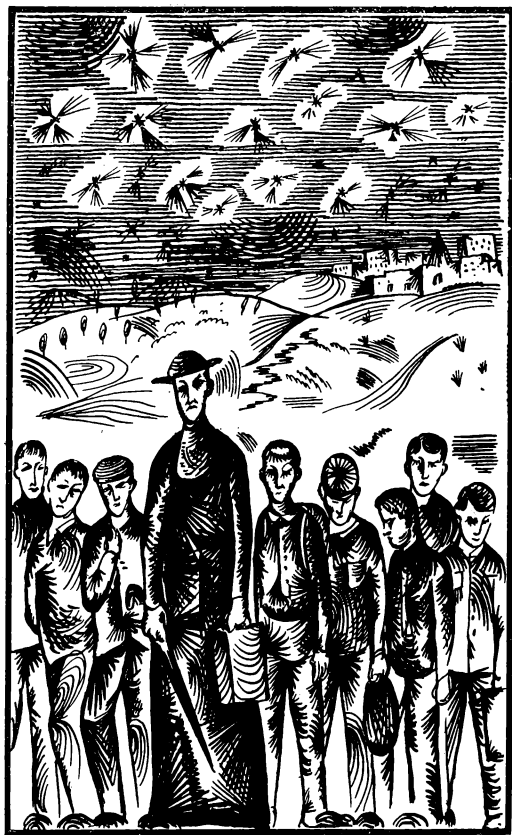
Я смотрел в пол и был так сконфужен, что ничего не сообщал.

Бабушка вскочила со стула, подбежала ко мне, расцеловала и заявила:

— Насчет денег не беспокойтесь! Из дедушкиной пенсии мы заплатим за содержание, а я справлю рысу...

Мать вышла в соседнюю комнату, чтобы скрыть от священника слезы; дед, зло поглядывая на жену, подливал себе вина.

В июне и июле я проводил в школе долгие часы, помогая отцу-пономарю. А когда однажды утром отец Сильвио позвал меня в трапезную для наставников и пригласил с ним позавтракать, то мне показалось, что у порога ангел надел на меня черную рысу и что я и в самом деле призван служить господу.



Часть вторая

23 апреля 1945 года к вечеру пришел к нам, в Мадонну деи Прати, скрюченный от артрита старик — принес в дар святому свой лечебный корсет из гипса. Он вошел в церковный двор, держа на плече палку, на ней в виде трофея висел гипсовый корсет. Он шел, немного сгорбившись, чуть подрагивая бедром, отчего дергалось все его тощее тело. Заостренным, волосатым лицом своим с большими темными выпуклыми глазами он напоминал воробья.

Храм и дом священника у подножия холма жили своей обычной жизнью. Мы играли на церковном дворе в «знамение». Было тепло.

В небе весь день кружили самолеты; со стороны города слышался глухой гул, будто где-то вдалеке, по ту сторону холма, тарахтели по шоссе грузовики.

Скрюченный старик прервал нашу игру. Оставив свою мучительную броню на паперти, он закрыл лицо руками и встал на колени. Потом, качаясь, словно ветка на ветру, вошел в церковь.

Выйдя из церкви и усевшись на каменную плиту, над которой высился большой крест, он распахнул пиджак и расстегнул рубашку, чтобы погреть под лучами заходящего солнца костлявую грудь, долгие годы скованную гипсовым панцирем. Мы подошли к нему. Кто-то хотел заговорить с ним о том, какую господь оказал ему милость, но в этот момент из дома выбежал директор, а за ним, нервно звоня колокольчиком, отец-префект.

— Скорее идите сюда! — громко позвал отец-директор. — Не надо строиться, подойдите просто так!

Прижимая худую руку к груди, он с трудом перевел дыхание. В глазах его было смятение, лоб усеяли мельчайшие капельки пота. Рядом с ним стоял какой-то незнакомый человек молодявого вида в штатском, в надвинутой на самые глаза шляпе.

— В ближайшие дни оставаться здесь, в Мадонне деи Прати, небезопасно,— быстро проговорил отец-директор.— Мы решили сейчас же отправить вас всех по домам. Разобьем вас на небольшие группы, каждой дадим провожатого. Идите собирайте вещи. Быстро!

Мы не сводили глаз с незнакомца в надвинутой на лоб шляпе. Его пронзительный взгляд наводил на нас страх. Мы словно оцепенели и онемели. Решение отца-директора было настолько неожиданным и непостижимым, что я никак не мог сосредоточиться, осмыслить его значение. Видя, что никто не двигается с места, отец-директор хлопнул в ладоши и, яростно махая руками, крикнул:

— Скорее, ради бога! Остались считанные минуты...

Мы побежали мимо навеса, где монахини накрывали столы — стелили клеенки, расставляли железные миски.

— Боже мой, но ведь ужин почти готов, отец-директор! — закричала матушка-повариха при виде поднявшейся суматохи.— Куда это они помчались сломя голову?

Она стояла в дверях кухни; щеки ее, обрамленные белоснежным монашеским чепцом, пылали, в руках она держала супницу с горячим супом.

Отец-директор подошел к ней и что-то сказал.

— Но не отпустите же вы бедных ребят на голодный желудок? — спросила она.

— Все мы в руках божьих,— проговорила другая монахиня.— Что тут происходит?

— Раздайте суп бедным! — распорядился отец-директор.— Дети поесть не успеют, им надо сейчас же отправляться в путь.

— Нельзя терять времени, братья мои,— продолжал отец-директор, обращаясь к другим наставникам.— Надо составить списки.

И они исчезли в ризнице.

Низкое помещение с массивными балками вдоль изголовья кроватей, служившее раньше для хранения зерна, огласилось звонким ребячьим гомоном, будто мы разъезжались на каникулы. Мы ни о чем не думали. Были вытащены и раскрыты фибровые чемоданы, ок-

леенные изнутри цветастой бумагой, и большущие ранцы военного образца. Все переодевались, умывались в эмалированных тазах, расхаживали в трусах, босиком. В обычный день такое поведение выглядело бы непристойным. Но сейчас происходило что-то важное. Что именно? Какая нам грозит опасность? Кто был этот человек, приехавший к отцу-директору?

Отец-префект вообразился к нам наверх и, бегая между кроватями с зажатými в руке тетрадными листками, объявлял, кто куда должен отправляться.

Его со всех сторон спрашивали, что брать с собой, надо ли брать белье.

— Насчет белья решайте сами. Главное — наденьте самые удобные ботинки и не забудьте пальто.

— Я бы хотел захватить все свои вещи, но если где-нибудь придется задержаться, что я буду делать с двумя чемоданами? — рассуждал Корнелио.

— Мы же едем всего на несколько дней! — оборвал его рассуждения Венкини.

Когда мы спустились в церковный двор, отец-директор уже ждал нас. Он держался прямо и был бледен. Он торопливо благословлял очередную группу, и та отправлялась в путь. Часть товарищей уже ушла в направлении Кьямпо, Лониго, Вальдано. Подошел черед нашей группы, отправлявшейся в Виченцу. Провожатым у нас был отец Коррадо.

— Последний поезд на Виченцу уходит около восьми. Он остановится в Альте, не доходя до станции, — скороговоркой разъяснял отец-директор. — С божьей помощью доберетесь домой раньше всех. Торопитесь, до прихода поезда осталось меньше часа. Но когда вы будете в Виченце, прошу вас, отец Коррадо, будьте осторожны, переходя улицу. И постарайтесь не замешкаться, а то не успеете добраться до наступления комендантского часа.

И он благословил нас крестным знаменiem.

Мы обошли вокруг каноники * и, чтобы нас не видели жители, направились в обход деревни по изрытой

* Каноника — дом приходского священника.

телегами проселочной дороге, которая тянулась через пшеничное поле.

Легкий освежающий ветер колыхал кроны деревьев, клонил к земле пшеничные колосья. Мягкие волны пшеницы катились все дальше и дальше, до самых изгородей.

Начало смеркаться.

Наша группа состояла из восьми человек. Отец Коррадо был молодой священник. Из-за больного желудка ему было разрешено не поститься перед мессой. У него было совершенно прозрачное лицо. Особенно выделялся лоб — белый, без морщин. В стеклянистых светлых глазах застыли робость и покорная грусть. Он шагал впереди, держа в правой руке свернутый зонт, которым он раздвигал траву из опасения, не окажется ли там бомба замедленного действия. За ним следовали шесть ребят из Поледже — в вельветовых брюках, с военными ранцами за плечами. Рядом со мной шел Корнелио с чемоданчиком в руке. Я же навьючил на себя дедушкин походный сундучок с книгами и чемодан с бельем.

— Держитесь поближе ко мне, — твердил отец Коррадо усталым монотонным голосом, не оглядываясь назад и не переставая раздвигать высокую траву стальным концом зонтика.

Перед тем как стемнело, наступила глубокая тишина. Чуть слышался лишь шелест листвы на деревьях и шорох наших шагов по траве. На лугах сгущались тени, появилась легкая дымка тумана; кусты и деревья приобретали грозные очертания. Я с трудом переводил дух и размышлял о том, что война, по всем признакам, подходит к концу и не понятно, почему отец-директор, вместо того чтобы держать нас у себя, в совершенно спокойном месте, вдруг решил отослать домой.

Всего за несколько дней до этого в Мадонну деи Прати приезжал мой отец. Сидя во дворе под навесом, он говорил:

— Вам повезло, что вы здесь. Есть война или нет ее, вы даже не замечаете. Забрались на край света, далеко от шоссе, от железной дороги. А мы мучаемся: сколько ночей пришлось провести на голой скамье в бомбоубежище. Теперь, как завоет сирена, в доме оста-

ваться боимся. Такие бомбы сбрасывают, что никакие капитальные стены не выдерживают. Даже наш магазин и тот разлетелся бы в щепы, как крышка ящика под ударами дедушкиного молотка.

Бедный отец! Он исхудал: пиджак висел на нем как на вешалке, в глазах, смотревших раньше с жадным любопытством, застыл испуг.

Я помнил, каким он был за несколько дней до моего отъезда в коллегиум: чтобы скрыть свое огорчение по поводу предстоящей разлуки со мной, орал на приказчиков, на представителей фирм, на деда.

Тогда я не понял, почему он крикнул, что посылает меня учиться только на один год. Он не был богат и не мог позволить себе такую роскошь. Чтобы сводить концы с концами, он работал как вол и мне действительно следовало ему помогать.

Вечером накануне моего отъезда он переворошил все вещи, которые мать приготовила мне с собой, просмотрел рубашки, штаны, носки — все, что было.

— Майки и трусы можешь дать заштопанные, их не видно, а одежду — ни в коем случае! — кричал он. — Переделай ему мой черный свадебный костюм. Мой сын не богач, однако он все-таки из семьи коммерсанта, где денег на ветер не бросают, но в самом необходимом тоже не нуждаются.

Дорога шла через тополевые рощи, вдоль канав, доверху полных воды; лягушки в них и те притихли. Отец Коррадо больше не раздвигал зонтом траву, он шел медленнее, согнувшись, как от приступа боли.

— Беато, я не верю в эту выдумку насчет поезда, — прошептал Корнелио. — Вот уже пять или шесть дней, как к нам в канонику не доносился гудок паровоза.

— Если отец-директор сказал, что поезд ходит, значит, так оно и есть, — сухо ответил я.

Корнелио только пожал плечами.

Мы подошли к речке, которая протекает неподалеку от дороги, ведущей от Мадонны деи Прати к шоссе Лониго — Альте. Возле деревянного моста русло речушки расширилось в виде ампулы. На берегу небольшой заводи стояла старинная мельница. Мельничное колесо не

двигалось. Спокойно поблескивала зеленоватая вода. Раньше, гуляя, мы часто сюда забредали и мыли ноги на отмели (глубина воды здесь не более нескольких сантиметров).

Но в тот вечер, когда мы шли через мост, у меня было такое чувство, будто я покидаю границы небольшого, обособленного и счастливого царства, где мне так весело жилось.

Отец Коррадо был очень бледен; он прислонился к стене мельницы и отпил из термоса. Мы остановились и, стоя гуськом, ждали.

Наш провожатый вытер платком губы и вынул часы.

— До прихода поезда осталось полчаса, — прошептал отец Коррадо. — Уже темно и было бы неосторожным продолжать путь по полевым тропам. Если даже нас кто-нибудь остановит, то, увидев, что перед ним дети и священник, не тронет. Пойдемте по дороге, тогда мы успеем на поезд.

И отец Коррадо размашисто зашагал по тропинке, выходящей на дорогу, которая шла вдоль высокой насыпи через поле и напоминала длинный узкий плот, остановившийся у берега темного моря.

Мы зашагали быстрее, уже не боясь споткнуться о камни и корни деревьев. Веревка, которой я привязал к спине сундучок с книгами, резала мне плечи, и, хотя чемодан я нес попеременно то в правой, то в левой руке, обе руки затекли. Совсем стемнело, и мы старались держаться поближе друг к другу.

Подойдя ко мне вплотную, Корнелио шепнул мне на ухо:

— Беато, я больше в коллегium не вернусь.

Услышав это внезапно вырвавшееся и, на мой взгляд, бестактное признание, я посмотрел на Корнелио с испугом. Корнелио был слабенький мальчик. Помню, говорили, что ему не по плечу тяготы монашеской жизни. Но учился он усердно и отличался сообразительностью.

Сделав вид, что не расслышал его слов, я ничего не ответил. Но в глубине души я был потрясен. Я тяжело дышал и, сгибаясь под своей ношей, продолжал шагать вперед.

Отец Коррадо взял у меня чемодан с бельем, сказав:

— Ты — как улитка: куда бы она ни отправлялась, она всюду тащит за собой свой дом. Хорошо еще, что мы поедem на поезде, а то бы ты не добрался до дому раньше завтрашнего дня.

По мере того как мы приближались к шоссе, тишину полей все более явственно нарушал смутный, зловеющий гул моторов. Этот непрерывный глухой рокот постепенно завладевал всем моим существом, ввергая в состояние непонятной тревоги.

— Почему бы нам не спеть наш школьный гимн, — предложил Винкьелли. — Будет легче идти и не опоздаем на поезд.

Мне показалось, что я расслышал гудок паровоза, и я сказал об этом вслух.

— Да, да, я уж давно его слышу, — нервно проговорил отец Коррадо.

Неподалеку от нас раздались выстрелы. Мы ускорили шаг, теперь мы почти бежали.

По шоссе навстречу нам двигалась автоколонна.

— Это бегут немцы, — прошептал отец Коррадо. Слова замерли на его дрожащих губах. Мы стояли на обочине шоссе и тупо смотрели на происходящее. В первый раз мы видели так много немцев сразу.

Грузовики были битком набиты солдатами. Их головы в касках, покрытых травой и листьями, высывались сквозь ячейки маскировочной сетки; некоторые ехали, пристроившись на капотах и на подножках. Они смотрели на нас, а мы стояли как вкопанные и, потрясенные, молчали. Мимо нас мчались вперемежку повозки, мотоциклы, пушки, бронетранспортеры, машины «Красного Креста», накрытые сухими ветками, забрызганные грязью танки.

— Идите, идите и не поднимайте глаз! — шептал отец Коррадо, быстро проходя вдоль нашей шеренги.

Солдаты, наверное, устали и хотели спать: им было явно не до нас. Где это бегство началось и когда оно должно было кончиться, мы не знали.

Как-то в ноябре 1944 года во время большой перемены вдруг ворота коллегиума Монтеккьо Маджоре распахнулись и появился немецкий отряд. Солдаты были пожилые, многие — в очках, шагали они устало, не в ногу. Вдоль фланга взад-вперед бегал командир, на груди его подпрыгивала блестящая металлическая бляха в виде полумесяца, он пронзительным голосом отдавал приказания. Казалось, офицер был чем-то очень рассержен. Когда отряд вошел под навес, офицер скомандовал «шаг на месте», затем «кругом», «направо», «налево» и отдал команду «смирно» лишь после того, как заметил, с каким ошарашенным видом смотрели на него наставники и ученики. Проскрежетав железными каблуками по цементу, офицер повернулся и протянул руку директору, который шел ему навстречу.

Немец улыбался, но улыбался одними губами; глаза у него были холодные, как у змеи. К ним подбежал переводчик, отец Корнелио.

— Начальник просит передать, что его отряд тронется в путь завтра и что во время их пребывания здесь школа будет охраняться, как военная казарма, — перевел директору отец Корнелио.

Немецкий офицер осматривал окружавшие нас голые холмы и каменную ограду двора. Не дожидаясь ответа директора, он козырнул и направился к воротам, куда тем временем подкатывали немецкие грузовики. Пока одни солдаты натягивали поверх ограды колючую проволоку, другие разгружали тюки с соломой и какие-то ящики. Вскоре солдаты уже бродили по двору, под навесом, забрались в концертный зал и расположились там как у себя дома.

Директор куда-то исчез.

Вечером во время молитвы с десятков солдат вошли в церковь. Двоих мы обнаружили в углу трапезной: они сидели на полу, ели мясные консервы с черным хлебом и, глядя на наши испуганные физиономии, ухмылялись.

Спустился густой туман. После ужина, когда солдаты, сидя на земле, ждали приказа отправляться спать, двор приобрел вид поля боя после сражения.

Немцы заняли две комнаты на верхнем этаже и расположились в них на ночлег. Кровати они перетаскивали на чердак, набросали соломы на пол. Пыльная солома валялась по всему дому, ее запах проникал повсюду. Никто не спал. Кованные солдатские сапоги громыхали по лестнице, по коридорам. Во дворе что-то выкрикивали часовые, водители въезжавших и выезжавших военных грузовиков им что-то отвечали. В небе загудели самолеты: шаги в коридорах сразу стихли. Потом дверь дортуара медленно отворилась и на цыпочках вошел немецкий солдат. Я видел, как ко мне приближается человек огромного роста. Я хотел закричать, но захлебнулся слюной: у меня перехватило дыхание. Солдат медленно шел вдоль кроватей, мягко прикасаясь к белым изголовьям. Он остановился возле моего товарища Баттистутти. Тот спал. Солдат взглянул на него, послал ему воздушный поцелуй и, не сказав ни слова, спокойно вышел.

На следующее утро Баттистутти разбудил меня, когда в дортуаре еще стоял полный мрак.

— Идем! — прошептал он и на цыпочках направился впереди меня к выходу.

В коридоре, куда выходила дверь нашей спальни и комнат, занятых немцами, было полно мусора, соломы, окурков, объедков; на полу — следы грязных сапог. Из полуоткрытых дверей шел тяжелый солдатский дух, смешанный с запахом миндального мыла.

— Входи, — сказал Баттистутти, толкнув босой ногой дверь первой комнаты. Там несколько моих товарищей ползали по соломе, разводя руками, точно плавая. Все, что им попадалось под руку, — обоймы, вилки, походные фляжки, они подбрасывали в воздух и вообще выделяли такие коленца, каких мне никогда в жизни не приходилось видеть. Я перепугался и убежал.

Мы знали, что с весны 1944 года на близлежащих холмах устроили себе убежища партизаны. Они жили в лесах и в пещерах гор, которые окружают Монтеккьо Маджоре и тянутся вдоль шоссе вплоть до Рекоаро. Во время наших еженедельных прогулок мы встречали бородатых людей разного возраста в штанах из «чертовой кожи» и рубашках цвета хаки. Они вели себя насторо-

жепно, как пугливые лесные звери. Когда фашисты из 10-ой МАС * построили себе в сотне метров от нашей школы лагерь, состоявший из нескольких бараков, партизаны вышли из своих тайников, убили часовых, забрали оружие и продовольствие, а лагерь подожгли. Они стали действовать так отчаянно и с такой уверенностью вели ночные бои, что фашисты не отваживались больше выходить за колючую проволоку, окружавшую их бараки, всю ночь при малейшем шуме палили в воздух.

Те немцы, что ночевали у нас в коллегнуме, уехали рано утром, забрав свои пулеметы и минометы. Отец Корнелио, которого они заставили служить им переводчиком, ушел чуть свет, еще раньше, чем они. Отъезд немцев привел всех в еще более нервное состояние. Напряжение было вызвано не столько присутствием немецких часовых, расхаживавших вдоль ограды и стоявших на посту у запертых ворот, и не столько видом колючей проволоки, сколько доносившейся с холмов стрельбой. Одиночные выстрелы перемежались дробным треском автоматных очередей, напоминавшим стук града по крыше.

После обеда на соседнюю деревню и на немецкий лагерь налетели два американских истребителя. Они дали несколько пулеметных очередей и улетели прежде, чем мы сообразили, в чем дело.

Во дворе дымился густой туман, оседая мокрым слоем на железных столбах навеса и на темном брезенте, прикрывавшем немецкие грузовики. Закутавшись в черные накидки, шепча молитвы, мы бродили среди машин и ждали звонка к ужину. Тут мы услышали за воротами чей-то мерный шаг; часовой выкрикнул какой-то приказ, и дремавшие в кабинах грузовиков водители включили малый свет. Во двор вошли немецкие солдаты. Усталые, забрызганные грязью, они четко отбивали шаг по обледеневшей земле; сноп света освещал их ноги в коротких сапогах.

* МАС (сокращ. от «Мовименто антисовверсиво» — «Движение против подрывной деятельности») — фашистские ударные группы, созданные в конце второй мировой войны в Северной Италии для подавления партизанского движения.

Посреди колонны шел юноша лет двадцати со связанными за спиной руками. По-видимому, он очень устал, потому что с трудом передвигал ноги. Но лицо у него было как у святого Иоанна Крестителя. Когда он проходил мимо нас, мы вдруг испугались.

Солдатам было велено разойтись, а юношу посадили на один из грузовиков, другие машины расположились вокруг веером; четверых немцев поставили его охранять.

Офицер не пожелал разговаривать с наставниками. Отец Корнелио, который вернулся в школу вскоре после прихода немцев, до поздней ночи бродил вокруг грузовика, в котором сидел арестованный, но так ничего о нем и не выведал.

Ежевечерне мы читали перед сном молитву святого Кафассо о принятии смерти. Но в тот вечер нас не покидала мысль об арестованном юноше и вместо молитвы мы предались долгому размышлению. Возможно, мы впервые задумались о жизни всерьез, хотя никто еще не знал, насколько трагична будет судьба этого человека.

В сентябре итальянские и немецкие фашисты заняли все помещение коллегiums и нам пришлось эвакуироваться в канонику Мадонны деи Прати.

*

Дверь и окна станции Альте были заперты. Отец Коррадо посмотрел на нас в растерянности. Поставив на землю чемоданы, мы растирали натруженные руки.

Как-то внезапно наступила полная темнота.

По шоссе по-прежнему мчались немецкие грузовики, а с полей все чаще доносились автоматные очереди, рассекавшие темноту пригоршнями сверкающих, добежавших раскаленных шариков.

— Садитесь на чемоданы, — распорядился отец Коррадо, — я постучу в дверь.

От легкого тумана наши руки, лица, волосы стали влажными. Закутавшись в накидки, мы пристроились на чемоданах. Отец Коррадо ручкой зонтика колотил в дверь и окна, приставив кулаки к глазам, наподобие бинокля, заглядывал в щели.

— Тут такое творится, немцы драпают, а специально для нас в восемь ноль-ноль, видите ли, подадут поезд! — насмешливо процедил Корнелио.

Открыв свой чемодан, он пытался что-то вслепую в нем нащупать.

Один из ребят закашлялся. Отец Коррадо, наконец понял, что не достучится. Он стоял скрестив руки, уперев подбородок в грудь. Кто-то вытащил сухарь и грыз его, похрустывая. Мне очень хотелось есть, но рыться в моих вещах было бесполезно: ничего, кроме книг и белья, я бы не нашел. За холмами вспыхивало красноватое зарево, доносились глухие раскаты канонады.

Завернувшись в накидку с головой — то ли от страха, то ли от сырости, — я молился.

Так мы просидели около часа. Наконец, постучав еще раз в дверь станции, отец Коррадо сказал:

— Поезд не придет, это ясно. Единственное, что нам остается, это идти в Виченцу пешком. Да поможет нам бог...

Прошло несколько минут, после того как мы снова тронулись в путь, как вдруг в небе ослепительным светом зажглась осветительная ракета. Величественно спускался с неба светящийся шар, ярко озаряя грузовики, повозки, артиллерийские орудия, бронетранспортеры и два ряда платанов, окаймлявших шоссе. Водители замедлили ход; некоторые из них, ослепленные ярким светом, притормозили. И вот вся автоколонна, заскрежетавав тормозами, остановилась на обочине.

Солдаты прыгнули на землю и неуклюже, кубарем, скатились в кювет. В этот момент в зоне света появился самолет. Пикируя над нами, он начал обстреливать шоссе из пулеметов. Мы тоже кинулись в кювет, в кашу тел, вещмешков, касок и подпрыгивавших на камнях орудий.

Самолет улетел. Несколько грузовиков горели, взрывались бензобаки. Уткнувшись лицом в траву, я слышал, как рядом стонали, ругались нехорошими словами солдаты и как отец Коррадо кричал, чтобы мы не трогались с места: над нашими головами снова засвистели пули — самолет делал следующий заход.

Когда весь этот ужас кончился, отец Коррадо вылез из кювета и стал выкликать нас по именам. Немецкая автоколонна горела: машины пылали как факелы. Солдаты, потеряв всякое самообладание, стреляли в воздух, в сторону поля; некоторые возвращались к машинам, надеясь что-нибудь спасти.

Метрах в десяти от нас белела проселочная дорога, ведущая в Альтавиллу. Когда мы бегом кинулись к ней, нас догнала группа немецких солдат. Они бросились на колени перед отцом Коррадо и во весь голос по-итальянски закричали:

— Отпущение грехов! Отпущение грехов!

Мне стало стыдно за них. С момента ухода из Мадонны деи Прати я ни разу не испугался смерти, даже во время налета.

За эти несколько минут я насмотрелся столько, сколько не видел за все годы войны. Пьяные немецкие солдаты, шлепая по грязи и лужам, метались по дну канав, которые тянутся вдоль дороги на Альтавиллу. Немцы с офицерскими нашивками сидели на земле, прислонившись к деревьям, и провожали нас внимательным взглядом. На дороге валялись винтовки, шпинели, обоймы, и отцу Коррадо, все время убыстрявшему шаг, приходилось лавировать, чтобы не споткнуться. Со стороны поля не умолкала стрельба. Над нашими головами со свистом прорезали воздух автоматные очереди.

Мы уже были далеко, а взрывы все еще продолжались: это взлетали на воздух подбитые грузовики. Языки пламени охватывали едва зазеленевшие деревья; раздавались дикие, нечеловеческие вопли. Мы бросились бежать сломя голову; каждый думал только о том, чтобы убежать как можно дальше. Запыхавшиеся, обессиленные, мы остановились возле большого навеса закусочной, одиноко стоявшей близ дороги. Наверное, было очень поздно. Холодало. Голод давал о себе знать, но в сундучке с книгами не было ничего, кроме бумаги, а в чемодане — только белье. Веревками мне содрало кожу под мышками.

Голубой огонек электрического фонаря отца Коррадо медленно приближался к нам; мерцающая и покачи-

ваясь в темноте, он остановился неподалеку от навеса и погас. Из темноты послышался застенчивый голос:

— Слава Иисусу Христу...

Потом отец Коррадо повторил слова молитвы уже более решительно, как приказ. Корнелио ответил за всех:

— Во веки веков, аминь.

Отец Коррадо, шатаясь, подошел к нам. Мы отвели его в сторонку и уложили на груды соломы.

Гул грузовиков доносился слабо; выстрелы отдались. Может быть, немецкая автоколонна уже уничтожена или кое-как попелась дальше... Но подбитые грузовики, по-видимому, еще горели, потому что на макушках деревьев плясали красноватые отблески пламени.

Отец Коррадо снова зажег фонарик и попил из термоса. Он был очень бледен.

— Дети мои,— проговорил он, поднимаясь,— останавливаться нам нельзя. Ни в коем случае. Нам приказали добраться до Виченцы, и мы до рассвета туда доберемся, хотя на пути нас подстерегает немало опасностей. Преклоните колена и попросите у господина прощения за все свои прегрешения.

Он сложил руки на груди, потом широким жестом благословил нас, произнеся обычную формулу: «*Ego vos absolvo a peccatis vestris in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*» *.

Начиная отсюда, дорога была мне знакома, и я сказал об этом отцу Коррадо. Я знал, что дальше она идет не по открытой местности, а по склонам берийских холмов, становится все уже и уже, пока не превращается в едва заметную тропку, которая вьется то вверх, то вниз по виноградникам. Отец Коррадо велел мне быть проводником, а сам решил замыкать шествие.

Мы снова тронулись в путь. До моих ушей донесся его усталый голос:

* «Отпускаю вам грехи ваши во имя отца и сына и святого духа» (лат.).

— Ave Maria, gratia plena...*

Я мысленно продолжил молитву.

Мы шли медленно, еле передвигая ноги; город, как мне казалось, был еще далеко. «Кто знает, дойдем ли мы за ночь, даже если не будем ни разу останавливаться», — размышлял я. Нести сундучок с книгами стало невыносимо тяжело, так что я даже подумывал, не остановиться ли и не зарыть ли его возле дороги, иначе с таким грузом на плечах мне до дому не добраться.

Я был весь в холодном поту, меня знобило.

Внезапно нас осветил луч света. Я услышал голоса, потом увидел вокруг несколько человек. Ни различить, кто они, ни понять, что происходит, я не мог, потому что прямо в глаза мне бил электрический свет.

— Священник, — ухмыляясь произнес кто-то.

Карманные фонари опустились, и я смог рассмотреть с десятков солдат, одетых в форму защитного цвета; над козырьками фуражек алели красные звездочки.

— Ваше преподобие, почему это вы разгуливаете ночью, да еще с детьми? — спросил один из них.

— Мы идем в Виченцу, — мягко ответил отец Коррадо. — Этих ребят поручили моим заботам. Мы из коллегиума Монтеккьо Маджоре, а сейчас идем из Мадонны деи Прати, куда нас эвакуировали.

— Вот глупый поп! — заорал другой. — Надо быть идиотом, чтобы в такое время пускаться в путь, да еще ночью! Разве вы не знаете, что творится? Убить вас мало за это!

Отец Коррадо стоял молча, скрестив руки на груди.

— И правда, давайте его прикончим! Пора, черт возьми, разделаться с попами! — выкрикнул третий. — Все несчастья из-за них. Смотри-ка сколько попиков они себе готовят на смену!

Иссиня-бледный, отец Коррадо широко раскрытыми от ужаса глазами то смотрел на нас, то обращал взгляд ввысь, моля о помощи.

— Уж коли так, лучше его повесить! — расхохотался еще один.

* «Богородица, дево, радуйся...» (лат.).

Отец Коррадо опустился на колени. На лице его отразилась смиренная покорность судьбе, и он едва слышно произнес:

— Убейте меня, но пощадите детей!..

Он сгорбился, медленно подался вперед, всхлипнул, и изо рта его хлынула кровь.

Я подбежал к нему. Когда он пришел в себя и смог подняться, было снова темно; странные люди исчезли.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивали мы.

До Альтавиллы оставалось немногим больше километра. Поддерживая беднягу под руки, мы чуть не бегом ринулись вниз по тропинке и вскоре добрались до жилья.

— Отведите меня в приют к монахиням, — слабым голосом просил отец Коррадо, опираясь на двух моих товарищей. — О господи, сжался надо мной!

Корнелио, вцепившись в колокольчик у входа, дергал его изо всех сил.

Приют с его длинным рядом зарешеченных окон, массивными воротами и сизыми потрескавшимися стенами, был похож на тюрьму и выглядел необитаемым.

Наконец ворота приоткрылись и раздраженный голос спросил:

— Что вам надо?

Мы ответили, что отцу Коррадо плохо.

— Откройте, помогите! — умоляли мы.

Монашенка, все еще не решаясь открыть, всматривалась в темноту своими блестящими глазами.

— Вы откуда?

— Из коллегнума Монтеккьо Маджоре! — крикнул я.

Только тогда она открыла.

— Боже, спаси и помилуй! — охнула мать-привратница, увидев рясу отца Коррадо, выпачканную землей и кровью.

— Давайте сюда, — указала она на маленькую зеленую кушетку.

Больной, тяжело дыша, сел. Тусклые капли пота покрывали его пожелтевший лоб; глаза ввалились, как у умирающего.

— О боже мой, спаси и помилуй! — воскликнула,

подбегая, настоятельница. Но тотчас взяла себя в руки.

— Молитесь богу, дети!

И сделала знак привратнице удалиться.

— А вы, преподобный брат мой, мужайтесь! И молитесь, молитесь...

Потом куда-то исчезла, оставив нас в каморке с голыми стенами, освещенной слабым светом керосиновой лампы. Мы уселись кто куда; некоторые устроились на полу.

Я взглянул на стенные часы, висевшие над моей головой. Было два часа. Я так устал, что мне казалось, будто жизнь во мне еле теплится и я вот-вот угасну как свеча.

Не знаю, долго ли мы спали, но, когда мы проснулись, через ставни сочился свет. Времени прошло, должно быть, немного, но я знал: что-то случилось. Возможно, взорвалась бомба. Я слышал, как за воротами что-то треснуло, словно ударил гром с молнией.

Отец Коррадо все время метался в жару и бредил. Он громким голосом призывал бога, своих родителей и несколько раз умолял:

— Пощадите, пощадите детей, не убивайте их! Я хочу исповедаться...

Когда мы вышли из приюта, солнце уже взошло, стояла прекрасная погода, и все казалось спокойным. Легкий ветерок шевелил листву, и цветущие поля оглашались птичьими голосами. Мы направились по дороге, которая шла мимо аббатства Сант-Агостино.

На горизонте над вереницей зеленых холмов поднимались к небу остатки тумана. Вниз по склонам сбегали ряды виноградных кустов; на полях голубела пшеница. В нескольких местах был виден дым пожара. Доносился лай собак и гул машин, ехавших в направлении шоссе, откуда все еще слышались взрывы, и несколько раз, точно град по крыше, протрещали пулеметные очереди.

Время от времени навстречу нам попадались крестьяне. К нам присоединялись мужчины и женщины, тащившие на себе корзины, чемоданы, узлы, коробки. Они здоровались, мы им отвечали, и это вселяло в нас бодрость.

Из их разговоров мы поняли, что они возвращаются домой, в город, откуда бежали во время бомбежки, так как опасаются, как бы в последние часы немецкого отступления не начались грабежи. Они рассказывали, что американцы форсировали реку По и отбросили немцев далеко назад и что партизаны, спустившись с гор, занимают города, заботясь об их сохранности. Мы шли уже не гуськом, а гурьбой. У отца Коррадо было восковое лицо, он с трудом передвигал ноги и молчал.

Люди, которые шли с нами, по-видимому, привыкли к ужасам войны: проходя мимо небольшого кладбища, перед воротами которого лежало с десятков трупов немцев, они даже не взглянули в их сторону.

Отец Коррадо, напротив, повернулся и дрожащей рукой благословил их.

Внезапно из-за деревьев в желтом мареве и дыму показались зубчатые очертания города — дома со снеженными крышами, мокрые, точно от дождя, купола. Измученный усталостью, я не узнавал знакомой башни и купола покосившейся набок базилики. Стена огромного собора тоже была повреждена. В чистом небе все еще сновали быстрые стаи серебристых самолетов.

Восьмого мая брат Примо, садовник из патроната, принес мне написанное от руки на половинке тетрадного листка извещение, в котором мне предлагалось снова явиться в коллегиум. «Как можно скорее, — говорилось в извещении, — первым же средством сообщения, какое провидению будет угодно предоставить в ваше распоряжение».

Казалось, на сад коллегиума обрушился могучий ураган. Дорожки походили на высохшее речное русло: гравий был перемешан с грязью. Нижние ветки сосен были обломаны, газоны и клумбы затоптаны, исполосованы глубокими рывтинами от колес. Повсюду валялись пожелтевшие клочки бумаги, солома, крышки от ящиков. Фасад здания, вплоть до второго этажа, был весь изъеден оспинами, как будто кому-

то вздумалось для развлечения швырять в него камнями. Пол вестибюля был завален бумагами, точно в разгромленном учреждении: валялись досье, бланки, зеленые, желтые, коричневые папки; одни с документами, другие пустые, разорванные пополам или свернутые в трубку. Балки на потолке почернели от пожара. На верхних этажах со скрежетом волочили по полу какие-то железные предметы, стучали молотки, и знакомые голоса торопливо отдавали приказания.

— Скорее, детки, молитесь и за работу! — слышался голос отца-директора.

— Дайте молоток! Сохраните эти документы!

Я быстро взбежал на второй этаж. Длинный коридор, куда выходили двери классов и помещений монахинь, был загроможден железной мебелью. Высокие узкие классификаторы с огромными полупустыми ящиками, железные шкафы со вмятинами и груды гаек, задвижек, подпорок, железных планок — должно быть, от стеллажей. Мои соученики сновали взад-вперед, перетаскивая корзины с ботинками и свитерами. Рубини вез целую тележку шапок.

Я поставил свои чемоданы и подошел к отцу-директору.

Увидев меня, он развел руками и сказал:

— У нас все украли. Немцы и итальянские фашисты оставили нам все, что было в коллегии и у них в бараках. А местные жители все растащили... *Deus dedit, Deus abstulit, Sit nomen Domini benedictum* *, — заключил он и скрылся за дверью одного из классов, где мелом было написано: «Ботинки».

Позднее я узнал, что с самого дня освобождения наставники спали лишь по несколько часов в сутки, и то по очереди: охраняли склад продовольствия и одежды, который за несколько месяцев до этого устроили в помещении коллегии фашисты. В течение нескольких дней партизаны, знакомые отца Корнелио, присматривали за порядком, но потом кто-то ночью все-таки взломал двери склада.

* Бог дал, бог взял. Благословенно имя господне (лат.).

Наставники и монахини работали день и ночь не покладая рук: перетаскивали имущество на верхние этажи, баррикадировали лестницы. Большую часть вещей им все же удалось перетащить на чердак. В день моего приезда они уже «подбирали крошки», как говорил отец-духовник, стоя на коленях и собирая валявшиеся на полу чистые листки бумаги, которые он намеревался использовать для черновых набросков своих проповедей.

В бараках фашистской дивизии, расположенных в сотне метров от нас, царил мертвая тишина. Изгородь из колючей проволоки, которая тянулась вокруг всего участка, сохранилась в неприкосновенности, и, если бы не развороченные сторожевые будки у входов, можно было подумать, что их обитатели лишь на время покинули насиженное место.

В те же дни, после того как мы вчерне закончили уборку своего помещения, были выметены под метелку все бараки: в течение двух недель мы снимали оконные рамы, двери, саноборудование и на тележках, тачках, носилках увозили к себе.

Это была веселая работа. Нас разделили на бригады, которыми руководил кто-нибудь из наставников. Войдя в очередной барак, он указывал, что надо снимать, отдавал краткие распоряжения бригадирам и шел дальше, в другие бараки.

Как-то утром я сидел верхом на крыше барака, снимал черепицу и пел. Вдруг отец-духовник замахал на меня руками и закричал:

— *Quid prodest homini si universum mundum lucretur, animae vero poenitentiam patiatur?! * Беато Серафину, подумай о благочестии!*

Я смутился и продолжал работу молча.

В октябре в коллегииуме опять стало тихо и торжественно, как в церкви. Вокруг колючей проволоки, которую немцы протянули над нашей оградой, широкими фестонами вился плющ; садовые дорожки были выложены чистым белым гравием. Из мебели, остав-

* Что за польза человеку, если он завладеет всем миром, но нанесет ущерб душе своей?! (лат.)

шейся от фашистов, нам досталось несколько громоздких письменных столов, необъятных размеров платяные шкафы из эмалированного железа, стоявшие в дортуарах, и стулья, на которых была выжжена метка «Х».

Новый директор был пожилой священник небольшого роста с красным лицом и странной прыгающей походкой связанной птицы. Отца Корнелио больше не было: его отправили в Рим, в управление ордена.

Когда в день своего приезда, вечером, в ожидании звонка на ужин я вышел погулять во двор, мне попало на глаза много новых лиц. Напротив, многих из прежних товарищей, учившихся со мной до эвакуации из Мадонны деи Прати, уже не было: они так и не приехали — отказались от духовной карьеры. Так бывало и раньше, в начале каждого учебного года. Но в тот октябрьский день 1945 года новички показались мне немного необычными. На лицах этих ребят совсем не было заметно тех черт, которые характерны для будущих священнослужителей и свойственны почти всем людям, решившим посвятить себя церкви. Кстати, это помогает священникам отбирать из малолетних прихожан (наблюдая их в церкви или на занятиях в школе) будущих духовных пастырей. У них были ничем не примечательные лица ребятшек скорее городского, чем деревенского типа. Из-за войны они по несколько лет не ходили в школу. Глаза у всех хитрые, речь бойкая. Все несдержанные, невоспитанные. Были среди них и сироты, внезапно почувствовавшие призвание к монашеской жизни.

В тот год я учился в третьем классе средней школы; в соответствии с учебным планом, предписанным начальством конгрегации, мне предстояло проучиться в этом колледжуме еще год.

Не помню, чтобы мне доводилось еще когда-нибудь видеть столько тумана, сколько в ту осень и зиму. Монтеккьо Маджоре — это городишко, вытянувшийся длинной кишкой на несколько километров у подножия каменистых холмов. Конец этой кишки вдаётся в узкую продолговатую долину со скудной растительностью, произрастающей среди затвердевшей

лавы. В начале этой долины и находился наш коллегум.

Часам к трем дня холмы, долина и окрестные поля начинали дымиться густым белым туманом, словно трава и деревья тлели. Закутавшись в накидки, мы бродили по двору, почти плавая в этом белом облаке, которое мало-помалу темнело и приобретало фиолетовый оттенок, напоминавший сажу. Запах у тумана был приятный: от него пахло прелыми листьями, мхом, обгорелыми головешками. Я любил примоститься где-нибудь возле каменной ограды, закутаться в накидку с головой, так, чтобы оставалась только щелочка для душистого тумана, и предаваться размышлениям. Я задавал себе вопросы в полный голос, будто был один в пустыне. И повторял стихи из «Энеиды» — я задумал выучить ее наизусть от начала до конца.

Я всегда был усердным учеником, аккуратным до педантичности. (Товарищи злословили: «Учителя любят Беато Серафини за то, что у него постная физиономия».)

Чтобы сделать все уроки, двух часов мне хватало с избытком. Поэтому часов около шести я вытаскивал из картонной коробки книжечку в голубом переплете — «Подражание Христу».

Как-то вечером учитель остановился рядом со мной, слегка постучал мне косточками пальцев по темени и вполголоса проговорил:

— Ты не занимаешься, ты вообразил, что уже все знаешь!

Я смутился и, краснея и заикаясь, прошептал:

— Ваше преподобие, уроки я уже сделал. Я читаю, чтобы не сидеть сложа руки — так наказывал отец-духовник...

Но он прошипел мне в лицо:

— Было бы лучше, если бы время, отведенное для занятий, ты использовал по назначению. Почему бы тебе не научиться говорить по-латыни?

Я слушал его, ошеломленный. Заметив мое удивление, он схватил меня за волосы, приподнял мою голову и продолжал:

— У тебя есть «Энеида» на латинском языке. Почему бы тебе не заучивать наизусть строк пятьдесят в день? На следующее утро ты мог бы их декламировать в классе товарищам.

С того дня гексаметры Вергилия так втемяшились мне в голову, что примешивались к моим мыслям, о чем бы я ни думал. Это начало меня беспокоить, потому что в церкви, когда я пытался сосредоточиться на мысли о боге, изо всех уголков памяти, помимо моей воли, лезли латинские стихи. Когда я поделился своей тревогой с отцом-духовником, он, глядя на мою испуганную физиономию, улыбнулся и, заложив в нос большую понюшку табаку, разъяснил:

— Ты поступил в монастырь не только для того, чтобы молиться,— сказал он, засовывая руки в рукава.— Мы — те священнослужители, на которых возложена миссия быть апостолами религии среди молодежи, быть ее учителями, жить с молодежью, заботиться о ее формировании. Однако все это не должно отвлекать от мыслей о боге, ибо от него вся наша сила. Мы должны уметь дисциплинировать себя, особенно в церкви, во время богослужения и размышления, должны оставлять мирские суетные мысли за стенами божьего храма. Дьявол силен, он любимыми средствами старается отвлечь нас от созерцания Вечности. И если мы ему разрешаем, он вселяется в нас и живет в нас рядом с Христом. Против такого святотатственного сожительства мы должны бороться всеми силами. Иди, сын мой, и, когдаходишь в храм, оставляй своего Вергилия за порогом.

Однажды в январе на американском грузовике привезли около двадцати детей, осиротевших в годы войны. Их сопровождал военный капеллан. Было среди них и несколько калек, которым другие ребята помогали нести рюкзаки с одеждой. Увечья, правда, были не страшные: некоторые прихрамывали, у одного была ампутирована до кисти правая рука, у других не хватало двух-трех пальцев. До этого беспризорных детей подкармливали американские солдаты, но когда военные части союзников эвакуировались, то

итальянские власти были вынуждены передать сирот на попечение нашей конгрегации. На детях были хорошие шерстяные вещи, все они были упитаны, розовощеки и жевали американскую резинку. У каждого к карману пиджака был прикреплен голубой билетик с именем и фамилией. Это были мальчишки в возрасте от восьми до одиннадцати лет. Когда военный капеллан попрощался с ними, они хором закричали:

— Good bye, father John! *

К этому времени двор занесло снегом, сильно похолодало, и выходить во время перемены на улицу стало невозможно. Чтобы размяться и согреться, мы разбредались по всему зданию, старались побольше двигаться, бегать. В концертном зале скопилось столько пыли, что она ела глаза. Мы, несколько товарищей из одного класса, забивались в угол возле сцены. Слушая разговоры, я, как всегда, мысленно повторял «Энеиду».

Калеки-сиротки поднимали адский гвалт. Они кидались коробочками из-под сладких рожков, из которых ученики старших классов делали четки, влезали на сцену и прятались за кулисами; потом кто-нибудь из них с грохотом проваливался в суфлерскую будку и вопил как одержимый.

Однажды вечером меня вызвал к себе отец-директор.

— Тебя хочет повидать один человек, — коротко бросил он.

Отец Коррадо — священник, сопровождавший нас ночью 23 апреля от Мадонны деи Прати до Виченцы, — лежал на кровати, полузакрыв глаза. Одеяло было приподнято над его телом с помощью деревянной рамы. У меня перехватило дух от ужасного злобония, лишь немного приглушенного карболовой кислотой. Глаза мои наполнились слезами.

Услышав, что мы вошли, отец Коррадо открыл глаза и кивнул отцу-директору. Тот удалился.

— Подойди поближе, сядь здесь, — проговорил слабым голосом отец Коррадо. Он прилагал огромные

* До свидания, отец Джон! (англ.)

усилия, чтобы немного приподнять голову на подушке. Его дыхание было дыханием смерти. Я сжал зубы и мысленно сказал: «Господи, помоги».

— Ты меня помнишь? — прошептал отец Коррадо. Он выпростал из-под одеяла руку, обтянутую пергаментной кожей, и вытянул ее вдоль кровати.

— Да, — ответил я и покраснел.

— Я должен попросить у тебя прощения за то, что было в ту ночь, когда мы бежали из Мадонны деи Прати и нас остановили партизаны. Ты — единственный, кого я запомнил из всей группы. Помнишь, я нес твой чемодан и сравнил тебя с улиткой? — продолжал отец Коррадо. Потом он умолк, перевел дыхание, утер губы влажным платком.

— Меня привезли из больницы вчера вечером. Вы не видели, у вас был урок. Ничего не поделаешь. Через несколько часов — сегодня ночью или завтра, когда господу будет угодно, я умру. Ты меня прости за этот запах: у меня в брюшную полость вставлен зонд. Мне не хотелось покидать вас, не выполнив всех своих обязанностей. Надеюсь, я не причинил здесь особого беспокойства. Передай мои слова всем остальным, кто был с нами в ту ночь. Простите меня.

— Что вы, отец Коррадо! — с трудом выговорил я и не смог больше сказать ни слова.

— Иди, Беато Серафини, и помолись за меня!

Я не смог с ним даже попрощаться... Вышел на цыпочках из комнаты, побрел в трапезную. Я был сам не свой, не различал лиц своих товарищей и не мог побороть в себе отвращения к бедному умирающему человеку.

— Это запах смерти, — твердил я про себя. — О господи, дай мне силу любить его, помоги мне прогнать сатану!

Ложки стучали о миски, издавая глухой неприятный звук; запах супа тоже показался мне отвратительным. Все смотрели на меня с любопытством, какими-то мышиными глазками, гадая, почему я опоздал к столу.

Я медленно глотал суп, стараясь побороть отвращение к этой пропахшей лекарствами жидкости из пере-

варенного, разбухшего риса. «Неужели я не способен даже на это? — спрашивал я себя. — Что я за презренный червь!»

Служитель деликатно убрал пустую миску и поставил передо мной другую, со вторым. На второе полагались четыре очищенных апельсина. Суп и апельсины — таков был наш обычный ужин в коллегіуме.

Отец Коррадо умер два дня спустя. Несмотря на то что монахи все время жгли в небольших глиняных жаровнях зерна ладана, запах его разлагавшегося тела распространился по всему этажу. После краткой панихиды мы снесли его на кладбище. День был ветреный, в воздухе кружились ледяные снежинки, снег хрустел под ногами. Закутанные в накидки, окованные, мы плелись вереницей за катафалком, подпрыгивавшим на ухабах и колдобинах.

Выцветшие надгробия и мраморные ангелы, казалось, были сделаны из льда; с фаянсовых фотографий испуганно смотрели на нас покойники. И только могила, выкопанная для отца Коррадо, имела более привлекательный вид: обрамленная снегом, она походила на урну святого, отороченную драгоценной вышивкой.

*

Когда пришла весна, по четвергам и воскресеньям мы снова стали совершать предписанные уставом прогулки. Если нас сопровождал кто-нибудь из старших наставников, то, чтобы не утомлять его, мы бродили по полям, вдоль речушки Гуа́. Расположившись где-нибудь на краю поля, мы сидели и слушали историю нашей конгрегации или гонялись за кузнечиками, с наступлением темноты вылезавшими из своих норок пострекотать на просторе. Когда же с нами отправлялся кто-нибудь из молодых священников, мы бегали по холмам, лазили на утесы или забирались в пещеры, в которых во время войны укрывались партизаны (там еще валялась солома, на которой они спали).

Вспотевшие, в прилипших к телу рубашках, набегавшись до изнеможения, мы чувствовали себя счастливыми. Мне нравилось стоять на уступах застывшей

лавы, чувствовать, как ветер хлещет по ногам, проникает за пазуху, осушает пот, пронизывает до костей. Свежий воздух и солнце согревали кровь, и я испытывал такое же пьянящее чувство, как в тот день, когда накануне праздника святого Иосифа первый раз принял душ.

В коллегииуме было пять душевых кабинок, и мы пользовались ими по очереди, причем первыми ходили малыши. Перед тем как войти в душ, каждый получал у дежурного священника пару черных трусов, в которых полагалось мыться. Как только мы заходили в кабинку, пускали теплую воду и можно было приступать к мытью. По свистку отца-дежурного (один свисток — окатиться, два свистка — намылиться, три свистка — смыть мыло) мы выходили из кабинки.

Когда подошла моя очередь, сухие трусы кончились. В таких случаях те, кто кончал мыться, должны были сдавать свои трусы, сполоснув их под душем. Отец-дежурный вручил мне пару мокрых трусов, и я вошел в кабинку. Я быстро разделся, натянул трусы и стал ждать свистка. От запаха мыла, от жаркого воздуха душевой у меня слегка закружилась голова, а от прикосновения теплых трусов горячая волна хлестнула между ног, по спине до самого затылка пробежала дрожь, перед глазами поплыли желтые круги, похожие на длинные крылья... У меня подкошились колени. Я почувствовал, что теряю силы, и упал. Желтые круги стали белыми; казалось, они исходили от какого-то огромного солнца. «Довольно, господа, довольно, иначе я, твой слуга, умру от блаженства», — пробормотал я, пытаюсь подняться.

В тот же вечер я исповедался отцу-духовнику (не уточняя, однако, что именно со мной приключилось в душе), сказал ему, что господь осчастливил меня своим внезапным появлением. Преклонив колена, мы прочитали вместе благодарственную молитву «Te Deum» *. Именно тогда я обещал стать добрым пастырем для тех, кого господу будет угодно препоручить моим заботам.

* Тебя, бога, славим (лат.).



Часть третья

В то утро, перед моим отъездом в Санто Стефано Бельбо, отец очень нервничал. Он ходил взад-вперед по утрамбованной дорожке — платформе номер три, к которой должен был подойти поезд, направлявшийся в Милан, волоча за собой свой знаменитый велосипед «Три ружья», на раме которого стоял мой новый чемодан с экипировкой для поступления в послушники. У отца был такой вид, будто он отправлялся в очередной вояж в поисках желанного, но трудно уловимого клиента. Дойдя до развалин старого вокзала, он поворачивал обратно и, проходя мимо пассажиров, заглядывал им в лица, прикрытые от солнца смастеренными из бумаги треуголками.

— Уезжаете, синьор Серафини? — спросил представитель «Мясных экстрактов Либига», отделившись от группы ожидавших поезда пассажиров и слегка наклонив голову в знак приветствия.

— Нет, спасибо. Едет мой сын. Ему предстоит проделать триста километров за Алессанрию, — ответил отец, показывая пальцем в нашу сторону, туда, где стояли мы с матерью, дедушка и бабушка. — Едет учиться на священника, получит высшее образование.

— Вы счастливый человек, синьор Серафини, что у вас такой сын. Если бы вы знали, как я измучился со своими оболтусами... Скольких нервов мне стоит заставить их ходить в школу! — продолжал представитель фирмы, постепенно переходя от доверительного тона к своей обычной напевной манере разговора, как будто рекламировал свой товар.

— Не могу пожаловаться. Мой Беато всего добился сам, никто никогда ему не помогал. Я-то дошел только до шестого класса. Потом кончил железнодорожные курсы и нанялся кочегаром в «Трамвие вичентине». Как известно, у машин с латынью нет ничего общего. Механика! Что может быть лучше меха-

ники?! Особенно для тех, кто понимает в ней толк! Не случись у меня несчастья с ногами, я бы уже работал на больших паровозах. Что говорить, паровозики у нас в «Трамвие вицентине» маленькие, игрушечные: котел — два метра, а поршневой рычаг — с руку ребенка, не больше. Вот это я понимаю — машина! — мечтательно заключил он, жадно разглядывая выходявший из-под станционного свода большой паровоз, который тащил длинный товарный состав. — Ну ладно. До свидания и счастливого вам пути! — сказал он коммивояжеру, а сам поплелся дальше, крепко ухватив своими большими неуклюжими руками руль велосипеда.

Он шел скособочившись, сильно припадая на одну ногу. При свете знойного летнего дня его хромота была особенно заметна. Дойдя до фонарного столба, он обошел его вокруг, недовольно помотал головой и вернулся на прежнее место. Щеки его были покрыты синевато-зеленой щетиной; его маленькие глазки покраснели. Остановившись на минуту возле матери, он спросил:

— Ты уверена, что положила в чемодан все необходимое? Я не хочу, чтобы вдали от дома мальчик терпел лишения. Не известно, как у него там все будет...

— Я положила все, что ему надо, — отвечала мать. — Кроме того, не в Америку же он едет. Если ему что-нибудь понадобится, напишет, и мы pošлем ему посылку.

Отец усмехнулся:

— В наше время только наивные люди, вроде тебя, могут полагаться на почту.

И снова заковылял по платформе, толкая перед собой велосипед. Время от времени он останавливался, приглядываясь к рельсам, к стрелкам. По-видимому, вид развороченных бомбами, проржавевших паровозов и вагонов растревожил его. Уничтожение этих машин казалось ему варварством.

В нескольких шагах от нас стояла группа моих попутчиков из окрестных деревень и городков с сундуками, узлами, чемоданами. Эконом коллегииума

Монтеккьо Маджоре дон Марио Каллегаро, которому поручили довести нас до Санто Стефано Бельбо, стоял в сторонке, накрыв голову носовым платком, и читал требник.

— Сегодня жарко, — сказал отец, останавливаясь возле священника. — Но когда поезд тронется, будет прохладнее. Завидую вам, что вы так далеко едете. За все пятьдесят лет, что я живу на свете, ни разу не был дальше Венеции. А наши ребятишки садятся в поезд, будто это в порядке вещей.

Священник не спеша закрыл требник и молча слушал отца.

— В их возрасте я, бывало, ходил на работу босиком, чтобы ботинки не изнашивались. Впрочем, так-то лучше. Что говорить, в мое время люди питались одной кукурузной кашей да сыром, а поездов в Венецию проходило не больше двух-трех в день. Так ведь кто тогда ездил в Венецию? Одни господа. Да еще молодожены в свадебное путешествие.

Ребята тоже разговаривали о предстоящей поездке. Рубини разложил на чемодане географическую карту: наш маршрут был обозначен красной линией, а города, через которые предстояло проезжать, были обведены черными кружками. Люди вокруг смотрели на нас с любопытством. Мужчины обливались потом и обмахивались шляпами.

Отец был не в состоянии молчать и спокойно стоять на месте. Он оставил велосипед и сказал:

— Пойду узнаю, не опаздывает ли поезд.

Мать, глядя меня по голове, с грустью призналась:

— Мне жаль, что ты уезжаешь.

До сих пор помню, какое у нее было тогда расстроенное лицо: наверное, она долго плакала накануне. Я не знал, что ей ответить. Мысль о путешествии приводила меня в восторг, я отправлялся в путь, как brave солдат на войну, горя желанием, чтобы все началось поскорей и чтобы скорее представилась возможность отличиться.

Рядом с нами на огромной картонной коробке, выкрашенной в цвет американского флага, сидел муж-

чина лет пятидесяти. На нем были брюки «зуав» защитного цвета, матерчатые краги с пряжками и коричневый пиджак. К лацкану пиджака была прикреплена черная лента с пятью звездочками.

— Вы семинаристы? — спросил он, подходя к моим товарищам. Услышав утвердительный ответ, он сказал:

— У меня тоже был сын семинарист двадцати лет. И тонзуру ему выстригли. На третьем курсе он уже читал во время мессы «Апостола». А два года тому назад по дороге в церковь его убили. Вот все, что у меня от него осталось, — и он показал на одну из звездочек, прикрепленных к черной ленте. — Имя убийцы так и не удалось выяснить, прости его господи.

Мне вспомнилось наше бегство из Мадонны деи Прати, вспомнился харкавший кровью дон Коррадо.

— Если вам тоже в Пьемонт, поедem вместе, я покажу вам фотографии.

В это время прибежал отец. С трудом переводя дыхание, он сообщил:

— Отец Марио! Пора. Последние вагоны всегда пусты. Скажите ребятам, чтобы пошевеливались. Беато, пошли в конец состава!

О поездах мой отец знал все. Состав, которого мы ждали, имел около сорока вагонов, шел по расписанию и прибывал в Милан к двум часам дня. Места надо было занимать с правой стороны вагона, потому что после Вероны можно было увидеть озеро Гарда.

Мимо нас прошел начальник станции. Отец поздоровался с ним, козырнув по-военному. Когда раздался звонок, возвещающий о приближении поезда, отец прислонил велосипед к телеграфному столбу, снял с руля чемодан и, словно большая черная птица со связанными ногами, смешными короткими прыжками заковылял навстречу поезду. Состав был сформирован из вагонов для скота. Они проржавели, облиняли от дождей; стенки были продырявлены осколками бомб. Единственное, что выглядело красивым в этом поезде, был черный сверкающий паровоз. Когда он мед-

ленно проходил мимо нас, отец помахал в знак приветствия машинисту и кочегару.

Ехавшие в поезде пассажиры недружелюбно глядели из дверей вагонов на будущих попутчиков, бежавших вдоль состава с чемоданами. Мы сели в последний вагон и свалили вещи в угол.

Я обнял мать. Тяжело дыша, приковылял отец и протянул мне желтый конверт.

— Спрячь подальше, — приказал он. — Когда будешь смотреть в окно, берегись телеграфных столбов. По дороге купи себе что-нибудь. Если не истратишь все деньги, отошли остаток домой. Захочется пить, пей, но помни, что мы не богачи.

Мать смотрела на меня молча, в глазах ее блеснули слезы. Когда поезд отошел, дон Марио повел нас в глубь вагона. Мы кое-как расселись. Было жарко, как в печи. В этот момент я заметил, что мужчина, у которого убили сына семинариста, ехал с нами вместе.

Поставив свою коробку рядом с нашими чемоданами, он пил прямо из горлышка черной бутылки. Какое-то крестьянское семейство расположилось за трапезой. Обложившись кулками и сумками, они вели разговор о рисе, о том, где какая земля, о Пьемонте и о том, как хорошо ловить рыбу на затопленных рисовых полях.

Железные стенки вагона так накалились, что к ним невозможно было притронуться. Мы обливались потом. Отец Марио разрешил нам снять пиджаки.

Мне было легче дышать, чем другим, так как я сидел в проеме двери, прислонившись к железному засову, перегораживавшему вход в вагон. Я смотрел на поля, на быстро мелькавшие мимо деревья и думал о том, что провидение поможет мне стать хорошим пастырем и что ради блага паствы, которая будет поручена моему попечению, я, не колеблясь ни минуты, отдам жизнь. На деревьях висели зрелые плоды; обильный урожай сулил благополучие, а значит, и мирную жизнь.

Время от времени поезд замедлял ход. Вдоль железнодорожного полотна работали голые по пояс ра-

бочие. Орудя огромными щипцами, они заменяли куски рельс, ссыпали из больших ушатов щебенку. При приближении поезда они махали нам своими соломенными шляпами и весело поднимали бутылки с вином. Потом поезд снова набирал скорость, замедляя ход только на деревянных мостах, где мелко трясло на стыках.

В Вероне в наш вагон вошли два новых пассажира. Крайне недовольные тем, что в вагоне оказалось так много народу, они беглым взглядом окинули скамьи и уселись в двух шагах от меня на собственные чемоданы. Я из-под полузакрытых век наблюдал за ними. Один из них был элегантно одетый человек в черных очках с тонким лицом и холеными руками. Другой был одет небрежно: на нем были рубашка в черно-белую клеточку, вытянутые на коленях брюки, сандалии на босу ногу. В петлице у него была красная звезда. Я инстинктивно зажмурил глаза. Один говорил:

— Если мы этого хотим, то нечего медлить. Католики сохранили свои организации и при фашизме, поэтому они сейчас в выгодном положении. Они начинают не с пустыми руками, в их распоряжении церковные приходы, клубы, армия священников.

Второй, не повышая голоса, возражал:

— А в нашем распоряжении заводы: ведь все рабочее — за нас. Если мы надумаем делать революцию, оружие у нас будет, стоит только захотеть. Весь этот старый гнилой хлам можно было бы выбросить за борт в два дня.

— Да, но в Риме не хотят, чтобы мы брались за оружие.

— В том-то и дело. А эти пока что на наших глазах наводят у себя порядок, организуются. Готовят священников. Взгляни на этих семинаристов. Эта публика орудует вовсю, роются как кроты под землей. И в результате почва уходит у нас из-под ног. Если мы отложим революцию на потом, она будет заведомо обречена на провал.

— Больно ты шустрый. Революцию надо как сле-

дует приготовить, иначе она ничего не даст. Вспомни Испанию. Фу, какая жара...

Хотя отец Марио сидел, уткнувшись в молитвенник, он заметил, что я прислушиваюсь к разговору двух пассажиров, знаком подозвал меня к себе и велел сесть на его чемодан, в другом конце вагона.

Коммивояжеры, вытащив из портфелей бумаги, читали и листали какие-то тетради. Неподалеку один паренек читал вслух газету своим землякам; те слушали его не перебивая. Несмотря на неумолчный гул голосов, скрежет колес и тряску, некоторые семинаристы умудрились задремать. Они сидели впритык друг к другу, потные, желтые. У одного в волосах проглядывали большие белые прогалины.

Отец убитого семинариста продолжал толковать о рисовых плантациях и шевелил руками так, словно погружал их в большую кучу риса. Крестьяне, не переставая жевать, слушали, что он говорит.

Когда показалось озеро Гарда, я подбежал к проему двери.

— Отличная база,— бросил хорошо одетый господин, обращаясь к человеку в клетчатой рубашке. Повернув голову, он заметил, что я стою рядом. Они переглянулись и пошли обратно на свое место — продолжать начатый разговор.

— Послушай,— сказал мне отец убитого семинариста, взяв меня за руку,— ты не должен сутулиться. От этого нарушается правильное дыхание и может заболеть грудь. Держись прямо! У моего сына тоже была скверная привычка горбиться, и в результате получилось легочное заболевание. Поправляться его послали домой. Мы, конечно, его выхаживали. А он все дни напролет плакал — просился обратно в семинарию. Пришлось отпустить. И вот перед самой мессой — такое несчастье... Держись прямо, не горбись!

Когда проехали Брешу, места пошли плоские, низменные: равнина без конца, без края. Припорошенные пылью серовато-зеленые поля с проступавшими кое-где пятнами песчаника были разгорожены на ровные куски высокими шеренгами тополей. Небо на горизонте затянуло голубоватой дымкой. Воздух

стал еще более теплым и влажным — густым, как тина. Дышать было трудно.

В Милане, когда я рассматривал высокий дымный свод вокзала, ко мне подошел дон Марио и, нагнувшись, шепотом сказал:

— Разве ты не знаешь, что нельзя прислушиваться к разговорам соседей? Это очень нехорошо, сынок.

Он был взволнован и огорчен, а я, выслушав упрек, удивился. К каким разговорам я прислушивался?

Видя, что я остановился на платформе и не трогаюсь с места, он захлопал в ладоши:

— Быстрее, дети, ведь нам еще ехать до Алессандри!

Я с утра ничего не ел, во рту пересохло от жажды. Я остановился у тележки с прохладительными напитками, купил апельсиновой воды, два яблока и бегом догнал своих. Я уже собирался поднести бутылку ко рту, но взгляд отца Марио остановил мою руку на полпути.

— Нечего сказать, молодец, — проговорил он, отнимая у меня бутылку. Затем поднес ее к глазам и повторил:

— Нечего сказать, молодец! Сдерживать свои желания совсем не умеешь!

Я был так сражен этим выговором, что не находил слов для оправдания.

— Наша конгрегация бедна, — продолжал дон Марио, — поэтому не воображай, что всякий раз, как тебе захочется пить, к твоим услугам будут прохладительные напитки. Если ты так настроен, можешь возвращаться домой и жить в миру. Ведь если мы будем не в силах умерщвлять свою плоть, то господь позволит сыну тьмы — Сатане одержать верх над сыновьями света.

Дон Марио отвернулся и, наклонив бутылку, вылил апельсиновую воду на шпалы.

В ту минуту, когда отец Марио выливал воду, я наконец обрел дар речи и глаза мои наполнились слезами, как будто целительная влага попала ко мне в рот. Комка в горле как не бывало. Я не хотел быть

сыном тьмы и, взбираясь в вагон, плакал навзрыд — то ли от раскаяния, то ли от радости, словно эти несколько чудодейственных капель утолили мою жажду.

*

Говорили, что коллегium Санто Стефано Бельбо, куда мы направлялись, представлял собой сельскохозяйственную колонию, которую конгрегация до конца года собиралась продать, а постоянное местопребывание новичиата * было в Вигоне. В Санто Стефано Бельбо, укромном, спокойном месте, где нам предстояло пройти курс духовных упражнений, должно было состояться пострижение. Учебный цикл продолжится уже в новичиате до сентября.

На станции Санто Стефано Бельбо нас ждали семинаристы, приехавшие из других церковных округов Италии. Они пришли с тележками, чтобы отвезти наши чемоданы, махали нам платками и так галдели, что пассажиры с любопытством сгрудились у дверей вагонов.

— Меня зовут Фогерацци, я из Рима. Давай свои чемоданы!

— А, наконец-то явились и венецианцы! У вас такой вид, будто вы добирались сюда пешком.

— Значит, вы тоже ехали в вагоне для скота! Можете нам не завидовать, мы тоже всю дорогу стояли и мучились от жажды.

Мы вышли из вагона обалдевшие от грохота колес и от жары, грязные от угольной пыли и пота. Мы пожимали протянутые руки, нас в знак приветствия хлопали по спине. Один хватал мой чемодан, другой тянул меня в сторону, уверяя, что этой ночью видел во сне точь-в-точь такого, как я, парня из Венето и сердце ему подсказывало, что я буду хорошим собратом.

* Новичиат (итал. «noviziato») — двухгодичные курсы, которые послушники проходят перед вступлением в монашеский орден.

— Кормят здесь хорошо, брат мой. Порядка, конечно, мало: помещение неподходящее, воды не хватает.

— Кровати жесткие,— тараторил другой.— Половицы скрипят. Одним словом, все по-деревенски. Но кормят уже, как старших.

Какой-то белобрысый паренек взял меня под руку и повел к водопроводной колонке.

— Попей,— сказал он,— а то у тебя губы черные.

Когда мы вышли из здания вокзала, солнце заходило за гору Ланге. От усталости ноги меня не слушались. По обе стороны дороги тянулся виноградник. Лоз на низких кустах было немного, но они были сплошь увешаны гроздьями красного винограда. В промежутках между рядами не видно было ни травинки. Потом пошли, напротив, участки с травой по колено: фруктовые деревья сгибались там под тяжестью груш, персиков, яблок.

— Здесь фрукты даже не подают к столу. Смотреть на них не хочется...

Коллегиум был расположен в приземистом трехэтажном здании с длинным балконом, перерезавшим фасад пополам, в десятке метров от начала пологого склона холма, сплошь засаженного фруктовыми деревьями.

Белые стены дома пахли клеем. На ребристой цинковой поверхности новых водосточных труб сверкали красноватые солнечные блики. В глубине двора еще зияла большая яма с известью. Дом отделали заново, чтобы продать повыгоднее.

Стены церкви тоже были выкрашены заново в светло-зеленый цвет. Отодвинутый от стены алтарь был деревянный.

Ввиду того что иезуит, которому предстояло быть во время духовных упражнений нашим наставником, задерживался еще на несколько дней, заместитель отца-наставника решил на следующее утро познакомиться нас с окрестностями. Стояла хорошая погода, но было не так жарко, как в Виченце. Прогуляться и размять ноги нам было полезно. Кроме того, прогулка

должна была помочь нам освоиться с новой обстановкой.

В получасе ходьбы от нашего коллегиума находился винный заводик, изготовлявший церковное вино. Им управляли монахини. На заводском дворе высились груды ящиков, чанов, заплесневелых бочек. Посреди фасада белого здания завода была изображена большая мадонна. Под длинным навесом рабочие промывали прессы — готовились к предстоящему сбору винограда.

— Я покажу вам завод, — сказала монахиня, наблюдавшая за рабочими. — Ах, сколько новых послушников! Будем надеяться, что всем вам когда-нибудь придется служить мессе и, даст бог, пригодится наше вино, — улыбнулась она, пробираясь сквозь толпу семинаристов. — Идите за мной!

Мы молча последовали за ней.

— Виноградный сок, — разъясняла монахиня, — подается на верхний этаж; оттуда по цементным желобам и охлаждающим фильтрам он стекает вниз и в свежем виде, еще не перебродив, скапливается в огромных бочках, стоящих в подвалах.

В помещении пахло вином, и мы почувствовали легкое опьянение от одного этого запаха.

Чтобы показать нам, как действует система, монахиня попросила накачать в нее воды. Пустые фильтры, похожие на толстые шерстяные чулки, наполнились и раздулись; заработали моторчики компрессоров, и вода, булькая, потекла по стеклянным трубкам.

С террасы завода мы увидели ярко окрашенный склон горы Ланге дель Монферрато. Белели здания винных заводов Канелли. Выжженная солнцем земля и красноватые виноградники простирались без конца и без края.

Заместитель отца-наставника не преминул воспользоваться случаем для небольшого назидания.

— Люди — как виноград, — сказал он. — Каждой виноградине богом дан сок, чтобы из него получилось вино. И как не каждой грозди посчастливится попасть на этот завод, чтобы превратиться в церковное вино,

так не каждого человека господь призывает к себе на службу. Вы — в числе этих избранных. Старайтесь же всегда и во всем быть достойными божьего выбора.



По вечерам мы сидели во дворе вокруг огромных корзин с фруктами. Тихо беседуя о конгрегации и о предстоящих духовных упражнениях, мы с серьезным видом запускали руку в корзину, выбирая плод поспелее. Так нам было велено. Фрукты следовало есть с кожурой. Заместитель отца-наставника напоминал, что во время духовных упражнений тело должно быть свержупитанным, так как мистическое поглощение молитвой и интенсивные размышления могут подорвать здоровье даже у атлета. Кроме того, ввиду почти полной неподвижности, которая предписывалась нам в течение всего этого периода, помимо мучительных запоров желудка нам грозили интоксикация крови и появление на теле сыпи, фурункулов, неприятных красных пятен и так далее. Фрукты же оказывают целебное воздействие, способствуют нормальной деятельности организма. И мы ели фрукты, ели, пока у нас не раздувались животы. Это было похоже на соревнование. Некоторые считали, сколько они поглощали слив, яблок, груш. Фруктов было сколько угодно, и можно было выбирать. В темноте и безмолвии двора стоял хруст: это наши зубы вгрызались в мякоть яблока или груши. Кроме этого монотонного хруста, не слышно было ничего, разве что кто-нибудь прищелкивал языком от удовольствия.

Должен сказать, эта прожорливость мне не нравилась, она меня корбила. Мне исполнилось пятнадцать лет, и я полагал, что должен во всем походить на старших, перенимать их жесты, вкусы, разговоры. Я подражал им, но, признаюсь, не всегда был уверен, что они ведут себя в строгом соответствии с правилами и, главное, что такое поведение соответствует моему характеру. Я имею в виду не только то, что они с тупым упорством уничтожали килограммы фруктов с кожурой. Я говорю о другом, о том, как они

совершали предписанные нам многочасовые оздоровительные прогулки, как стояли в церкви коленопреклоненные — долго, мне казалось бесконечно долго, обхватив голову руками. Неподвижные, словно изваяния, они пристально, не мигая, смотрели на обрамленную воздушной вышитой тканью дарохранительницу.

Эти люди были способны списывать многие страницы своего духовного дневника рассуждениями столь возвышенного свойства, как будто им диктовал их сам ангел; заливаясь слезами, в экстазе, подходить к алтарю за причащением или, упершись кулаками в виски, корпеть целыми днями над книгами. Я наблюдал все это, и иногда мне казалось, что я замечаю у своих товарищей какую-то натяжку, позу, как будто они играли на сцене, зная, что каждый их жест, каждое слово, каждый взгляд могут быть замечены и оценены.

А может быть, то было лишь проявлением самодисциплины, подчиняясь которой человек постепенно привыкает жить только верой, и то, что могло сначала казаться натяжкой, со временем входит в плоть и кровь? Может быть, ошибался я, позволяя себе эти приступы подозрительности, эти колебания и сомнения? Но ведь я так надеялся, что жизнь в лоне религии, при всех ее строгостях и ограничениях, более увлекательна, проста и естественна, чем в миру. Что она таит в себе невинные радости, способные сгладить все шероховатости, и, как бы это выразиться поточнее, что в ней заложен необъятный запас любви, с помощью которой все можно преодолеть правдиво и искренне, в том числе и ошибки, совершаемые каждым из нас.

От простоты отношений, поразившей меня в день приезда в Санто Стефано Бельбо, не осталось и следа. Гуляли ли мы по двору, садились ли за стол в трапезной или входили в церковь, меня не оставляло ощущение, что я живу бок о бок с людьми, которые как бы говорят: «Мы здесь не друзья-приятели, а братья, что гораздо важнее; стало быть, мы должны оказывать друг другу глубочайшее уважение. Каждый из нас старается жить, замкнувшись в своей скорлупе».

пе, уединяться для духовных упражнений. Если ты затеешь со мной ненужный разговор или каким-нибудь неосторожным, бесполезным движением нарушишь состояние внутренней сосредоточенности, в котором я пребываю, то я приступлю к духовным упражнениям, не сумею полностью изолировать себя от окружающего».

Поэтому за несколько дней, прошедших в ожидании приезда отца-иезуита, я утратил то чувство близости с товарищами, которое приобрел за четыре года пребывания в коллегииуме Монтеккьо Маджоре.

Кроме кратких бесед на духовные темы, произносились лишь фразы вроде: «Мой организм уже привык к здешнему питанию и воздуху. Теперь, слава богу, в предстоящие десять дней ничто мне не мешает».

Отец-иезуит прибыл к вечеру. Даже не отдохнув с дороги, он сошел к нам вниз и приступил к первой проповеди. Было уже шесть часов, и мне было трудно избавиться от неприятного чувства, что я — ученик отстающей группы.

Иезуит начал вполголоса, отчетливо выговаривая каждое слово, как будто сообщал некие секретные сведения, которые, однако, необходимо довести до сознания всех присутствующих.

— Если брешь, пробитая в Порте Пиа, лишила церковь ее светской власти, то сейчас она может выставить свой главный козырь. Только что закончилась ужасающая война, в мире еще царят сумятица и беспорядок; человечество еще не знает, по какому пути ему идти. Я думаю, что в нашей стране для католических сил пробил великий час. С божьей помощью церковь в Италии через несколько лет будет сильнее, чем когда бы то ни было. А чтобы добиться этого, нам нужны молодые священники, священники нового типа.

Я вглядывался в лица своих братьев; у них блестяли глаза — как будто то, что они слышали, явилось подтверждением их собственных мыслей и чувств. Ничто, казалось, не было для них новым в его словах, а когда проповедник заявил, что по истечении немно-

гих лет понадобятся люди, которые поедут читать проповеди в церкви России и Дальнего Востока, все лица расплылись в блаженной улыбке. Будучи совершенно не сведущим в вопросах апостолата, я с испугом подумал, что лишен божьей благодати, что я отверженный. А они все были так захвачены проповедью, что даже не отгоняли мух и комаров, ползавших по их лицам и рукам.

Первые несколько ночей в Санто Стефано Бельбо я не мог сомкнуть глаз. Койка была коротка, и я подставлял под ноги табуретку. Когда я переворачивался с боку на бок, ноги соскальзывали на пол и я просыпался. Мышцы ног ныли, точно меня избили палкой. Я часами лежал без сна и смотрел на кусок неба в квадрате распахнутого настежь окна. Во рту было горько; от невероятного количества съеденных фруктов бурчало в животе. Было очень жарко, в густом воздухе неумолчно жужжали комары и мухи. От комариного писка у меня болела голова и звенело в ушах, как бывает, когда стремительно сбегаешь с высокой горы. Когда, измучившись, я наконец засыпал, мне снились мои энергичные собратья: вдохновенные и благословленные святым духом, они после каждой проповеди испещряли страницу за страницей своими соображениями и героическими планами, а я под их испытующими взглядами молча бродил от одного к другому с чистым листком бумаги в руке. Потом мне чудилось, что я — в саду, где растут груши, яблоки, огромные персиковые деревья, но нет ни лестницы, ни длинной палки, чтобы сбить созревшие плоды; и вот я возвращаюсь домой, подобрав с земли несколько опавших червивых яблок, в то время как мои товарищи тащат целые корзины отборных плодов, какие можно увидеть разве что на изображениях земного рая. «Я сам виноват: не подготовился к духовным упражнениям», — корил я себя.

Утром я просыпался весь в поту; солнце светило мне прямо в лицо. Шатаясь, как пьяный, я подбегал к умывальнику, смачивал голову и туго обвязывал ее полотенцем.

Расписание духовных упражнений позволяло — для разрядки — после проповедей и обязательных молитв из Часослова, короткие прогулки, именуемые передышками. Во время этих «передышек» мы с отсутствующим видом и остекленевшими глазами, словно в каком-то трансе, медленно бродили по двору. Мощеный камнем двор раскалялся на солнцепеке, без умолку стрекотали цикады. Солнце слепило глаза, и все старались держаться поближе к ограде, где была тень. Набив карманы фруктами, я садился на траву там, где начинался сад, рядом с поленницей, куда солнце никогда не заглядывало, пристраивался спиной к дереву и сидел так, в тени, погрузив руки в мох. В соседнем саду крестьянские парни, взобравшись на деревья, собирали фрукты. Они сидели на ветках, голые до пояса; кожа их была черна от загара, как кора деревьев. А на мне была рубашка с галстуком и пиджак, так что, даже не двигаясь с места, я обливался потом.

Когда солнце клонилось к закату, а с холмов начинал дуть легкий освежающий ветер и можно было вздохнуть полной грудью, раздавался звонок, сзывающий на последнюю проповедь. Наш отец-иезуит, свежевыбритый и бодрый, словно только что после ванны, распространяя вокруг себя тонкий аромат миндаля, появлялся в церкви и шел на свое место под аккомпанемент хора, исполнявшего «*Veni Creator Spiritus*» *.

Неподалеку от нашего дома разбил свои палатки и павильоны небольшой Луна-парк. После ужина там гремели репродукторы, в тирах трещали выстрелы, слышались смех, выкрики, зажигались и меркли отсветы разноцветных лампочек, в небе с треском рассыпались огни фейерверков.

Мы молча бродили по двору, иногда отваживались выйти в сад. Может быть, меня одного отвлекала от серьезных мыслей суета этого Луна-парка: я мысленно представлял себе, как в тире стреляют в набитые войлоком головы-мишени, как катаются на «американских горах».

* «Да придет святой дух» (лат.).

В десять мы уже были в дортуаре. Раздираемый угрызениями совести, я смотрел на рясу, висевшую на спинке кровати. «Чуть становится жарко или заигрывает музыка, и я уже сам не свой. Почему? Ведь я уже не ребенок, я послушник, и конгрегация тратит на меня деньги. Я получаю от нее жалованье в виде питания, жилья, одежды, и если я не совершенствуюсь, значит, я обкрадываю конгрегацию и церковь», — корил я себя.

*

После церемонии пострижения мы до первых чисел октября оставались в Санто Стефано Бельбо. Дом был продан, и новые хозяева, которые собирались превратить имение в образцовую ферму, должны были вступить во владение в день святого Мартина. Мы помогали вытаскивать вещи.

Расхаживая по саду и по винограднику с корзиной фруктов на плече, подвязав сутану шпагатом на бедрах, чтобы не споткнуться, я раздумывал о том, как был бы счастлив мой прадедусшка Марко, если бы мог жить здесь, среди этих поросших виноградом холмов, быть хозяином этих угодий, где фрукты можно собирать возами, наполнять множество бочек вином и выращивать таких великолепных быков, каких умел выращивать только он один.

В воздухе стоял запах варенья. На краю сада в четырех огромных медных тазах с утра до вечера варились нарезанные пластинками яблоки и груши. Обливаясь потом, мы стояли в чаду и дыму и по очереди длинными шестами мешали густую розоватую булькающую массу. Возле тазов суетился помощник аптекаря. Он не выпускал изо рта сигареты, то и дело прикладывался к походной фляге и подсыпал в варенье салицилку.

У ограды стояли деревянные кадушки с готовым вареньем, на каждой крупными буквами мелом была сделана соответствующая надпись. Заместитель отца-наставника, проходя мимо заросшего вьющимся виноградом навеса или мимо виноградных кустов, с которых мы срезали спелые гроздья, приговаривал:

— Ешьте, ешьте! В Вигоне мы таких фруктов не увидим. Жалко уезжать из такого места, от такого солнца...

Вечером, с пылающими от загара лицами и растрепанными волосами, мы садились на край садового фонтана, мыли ноги и пели священные гимны.

Мы уехали из Санто Стефано Бельбо в первых числах октября, когда закончился сбор винограда. Утро еще не наступило, безоблачное небо было усеяно звездами. Мы взобрались на грузовик, где уже стояли кадушки с вареньем, корзины с фруктами и клетки с курами и петухами. Как только начало светать, вся эта живность закудаhtала, закукарекала...

Зелень полей и лугов была еще по-летнему сочной; багряные листья придавали ландшафту еще большее великолепие. Свежевспаханная земля выделялась на фоне зеленых холмов, оттеняя их яркость. Телеги с чанами, полными винограда, медленно ползли в направлении заводов Канелли. Парни, стоявшие возле чацов, проезжая мимо крестьянских ферм, демонстрировали особенно увесистые гроздья.

Когда мы приехали в Вигоне, уже настало утро; туман, поднимаясь из оврагов, расплзался по полям. Глядя на наши загорелые лица и корзины со свежими фруктами, можно было подумать, что мы возвращаемся из далекого многодневного путешествия. Местность здесь была плоская, пересеченная лишь длинными рядами тополей. По обширным лугам бродили стада коров. Стаи ворон медленно кружили в небе, потом, каркая, садились на деревья и на обочины дороги.

Мы совсем продрогли. Заместитель отца-наставника надел пальто. Наконец показался город, по-видимому, он был довольно велик: дома тянулись далеко-далеко и терялись в тумане.

Наш грузовик шел теперь не быстро: колеса увязали в наполненных грязью колдобинах, а мотор от частой смены скоростей неистово завывал. Чтобы не удариться о бочки и корзины, мы держались за руки и за плечи; на наши волосы и лица легла роса. Мы ехали не через город, а в объезд, кружной дорогой.

Наш наставник, перегнувшись через борт, крикнул водителю, как проехать в новициат. Мы громко запели «Benedictus Dominus Deus Israel» * и пели до тех пор, пока грузовик не остановился около высокой железной ограды.

С грузовика был виден двор, поросший платанами и липами. Деревья стояли без листьев, а между верхними ветками чернели пустые вороньи гнезда, похожие на тряпичные мячики. Дом был белый, трехэтажный. Из парадного выбежали брат-служитель, закутанный в плащ, и полный священник среднего роста.

— Это отец-директор, — сказал заместитель отца-наставника. — Его зовут отец Веньеро. Как только спрыгнете с грузовика, бегите целовать ему руку!

По одну сторону двора возвышался дровяной склад — огромный кирпичный сарай с крышей из ветхого листового железа. Рядом со штабелями дров были навалены огромные серые тыквы, похожие на панцири древних черепах. Между домом и дровяным сараем я рассмотрел деревья и кусты винограда. Это был единственный виноградник и единственный в городе сад. Мне рассказывали еще в Монтеккьо Маджоре, что эти деревья не плодоносят, потому что в апреле и мае здесь бывают заморозки и весь цвет гибнет.

— Наконец-то приехали мои послушники! Какие на вас замечательные рясы, из какой они прекрасной шерсти! Американский товар! — приговаривал отец-директор, щупая материю на рясе Фогерацци. Мы обступили его со всех сторон.

Взглянув на грузовик, отец-директор все с тем же удивлением заохал:

— Сколько бочек! И корзины с фруктами, и куры! Дай вам бог здоровья. Сам бог вас нам послал...

Я слышал, как смеялись мои собратья, как басил отец-директор, спрашивал, как кого зовут и из какого церковного округа кто приехал. Отделившись от группы, я подошел к дому. Я никогда здесь не бывал, но по рассказам, которые слышал в течение многих лет, знал, где находится классная комната, знал, что стены ее

* «Да будет благословен господь бог Израиля» (лат.).

установлены книжными шка́пами с многочисленными житиями святых. В комнате отдыха в углу стоит фисгармония; здесь происходят репетиции хора; здесь все священники и клирики конгрегации учились григорианскому пению. Я знал, что капелла расположена рядом с трапезной и что весь третий этаж занят под дортуйар, который представляет собой огромную комнату с тремя колоннами посредине и четырьмя рядами кроватей. Чувствовалось, что и в классной комнате, и в комнате отдыха, и в церкви, и в дортуйаре было светло, тепло. Да так, наверное, и должно быть: ведь мы только начинали свою жизнь в лоне религии и были подобны птенцам, только что вылупившимся из скорлупы.

— Войдемте в дом, — пригласил отец-директор, придавая своему лицу необычное для него строгое выражение. — «Отряхните прах мирской жизни со стоп ваших, ибо вы вступаете в самые сокровенные пределы царства божия», — процитировал он.

*

В начале ноября у городского врача умерла сестра.

В обоих церковных приходах колокола долго звонили заупокойную. К вечеру один из колоколов большой церкви заглушил все остальные и уже не унимался до поздней ночи.

Отец-директор новициата, ежедневно навещавший больную, чтобы утешить ее последним напутствием, увеличил число репетиций хора для заупокойной мессы. Не желая нас переутомлять, он все же добивался безукоризненного исполнения.

Если бы агония умирающей сестры доктора продолжалась еще дольше, то мы рисковали перенапрячь на репетициях голосовые связки и сорвать свое первое выступление на похоронах. До этого мы пока ни разу не участвовали в заупокойной службе, хотя жили в Вигоне уже больше месяца. Признаться, подходящих случаев за этот месяц представлялось немало — и с точки зрения положения, которое покойный занимал

в городе, и с точки зрения подношений, обещанных родственниками.

— Они еще недостаточно подготовлены, — с огорчением объяснял отец-директор родственникам покойного, умолявшим его разрешить нам петь во время похоронной церемонии.

— Я бы послал вам за беспокойство мешок зерна... — упрасивал родственник.

— Единственное, что я могу сделать, — это посвятить один день молитвам за упокой души усопшего. Пожалуйста, присылайте ваш дар, мы помолимся о божьем милосердии.

В Вигоне похороны были не столько церковным обрядом проводов покойного, сколько событием общественной жизни. Как только кто-нибудь в городе выпускал дух, член семьи бежал к церковному служке, чтобы тот звонил в колокола и известил о случившемся всю округу. Затем он отправлялся к настоятелю прихода, в сиротский приют, в богадельню и в новициат с просьбой отслужить заупокойную службу и ставил непременное условие, чтобы послушники приняли участие в похоронах. Если же покойный происходил из влиятельной семьи, то достаточно было зазвонить в колокола, и церковная машина сама приходила в движение.

Сейчас, когда умерла сестра городского врача, откладывать дальше наше участие в похоронах было невозможно, потому что такой подходящий случай мог бы представиться еще не скоро.

Городской врач не верил в бога и не делал из этого тайны. Тем не менее он был большим другом отца-директора и оказывал новициату немало услуг.

По слухам, их знакомство состоялось у смертного одра одного богача. Родственники выразили желание, чтобы врач не отходил от больного до самого конца, хотя знали, что медицина уже была бессильна. Тогда же они вызвали отца-директора, дабы он отпустил еще раз грехи бедняге, чья душа собиралась отлететь в мир иной, хотя умирающего уже благословили оба приходских священника и капелланы. Тут-то и со-

стоялось знакомство. Вид у врача был невозмутимый и неприступный, однако же не настолько, чтобы отбить у отца-директора охоту проявлять апостольское рвение.

Таким образом, они стали друзьями просто в силу стечения обстоятельств, без всякой нравственной выгоды для медика-атеиста, хотя отец-директор не терял надежды тронуть душу этого благородного человека. «Когда сидишь у смертного одра, многое может навести на полезные размышления», — повторял он. Но, сидя у больного, врач был целиком поглощен исполнением своего профессионального долга и не был склонен к сантиментам.

После того как больной испускал дух, отец-директор договаривался об участии послушников в похоронах, а врач предоставлял к услугам отца-директора свой старый черный автомобиль «Балилла», чтобы отвезти в новициат дар родственников — мешок зерна.

Отец-директор усаживался рядом с врачом, и они не спеша возвращались домой, рассуждая о покойном и о его достоинствах.

— Достоинствах верующего человека, — неизменно подчеркивал отец-директор и пользовался случаем, чтобы в выпрєнных выражениях восхититься прекрасным пейзажем, дабы обратить внимание своего спутника на красоту мироздания и на бесспорность существования его творца.

Врач хитро подмигивал, ехидно тыкал пальцем в сторону заднего сиденья, где лежал мешок с зерном, и говорил:

— Вашего бога я катаю на своей машине!

И раздражался непочтительным смехом, от которого отца Веньеро бросало в краску.

Врач был родом из Пьемонта, слыл страстным почитателем гражданских добродетелей Д'Адзельо * и поклонником мудрости Кавура **. Ходили слухи, что он был даже членом масонской ложи. Но, как уверял отец-

* Массимо Д'Адзельо (1798—1866) — видный итальянский политический деятель и писатель.

** Камилло Кавур (1810—1861) — пьемонтский государственный деятель, противник церкви.

директор, под оболочкой «гнилого интеллигента» и вопреки нелепому нагромождению либеральных идей в его груди билось золотое сердце.

Наступил день, когда городской врач стал обслуживать и новициат. Говорили, что он это делал безвозмездно. Сначала он являлся два-три раза в месяц, а когда его сестра, женщина очень набожная и крайне озабоченная мыслью приобщения брата к вере, начала бывать у нас почти каждый день (она приходила помогать монахиням-кастеляншам), то он и вовсе стал в новициате своим человеком.

Он лечил больных клириков, приносил свои лекарства. Во время уборки урожая его дружеское расположение доходило до того, что он присылал нам в дар зерно и сахар мешками, а грецкие орехи — корзинами.

Отец-директор и все отцы-наставники (а за пятнадцать лет существования новициата их сменилось немало) прилагали невероятные усилия, чтобы приобщить доктора к вере. Клирики помогали им молитвами. Это настолько вошло в привычку, что «Отче наш», «Богородица» и «Слава» за приобщение доктора к вере стали непременной частью ежедневных молитв.

Вполне возможно, что епитимьями и постами доктора сестра и довела себя до могилы, но небо все не ниспосылало братцу прозрение.

Накануне похорон мы долго репетировали реквием. Отец-директор, в состоянии крайнего возбуждения, весь красный, сидел за фисгармонией и без конца заставлял нас повторять то одну, то другую часть мессы. Когда дело шло на лад, он вскакивал с места и бежал в другой конец зала — послушать оттуда, как звучат наши голоса.

— Чуть тише тенора. Ш-ш-ш... приглушите басы... Теперь хорошо. Вот это хор!

Он снова садился за фисгармонию, брал несколько аккордов и снова отбегал послушать.

— Давайте опять «Dies irae»! * Больше торжественности! Больше чувства! Не забывайте, завтра у нас великий день...

* «День гнева» (лат.).

Когда стало темнеть, мы сходили в дортуар — взяли кашне, чтобы закутать горло, надели рясы похуже и вышли во двор.

— Сейчас прорепетируем похоронное шествие, — сказал отец Веньеро. — Это первые похороны, в которых вы участвуете, и, я надеюсь, вы меня не подведете. Завтра на вас будут обращены все взгляды. За все годы, что я возглавляю новициат, меня еще никто ни разу не критиковал. Будем надеяться, что вы не доставите мне подобного огорчения.

Брат-пономарь вынес во двор стихари и треугольные береты; мы выстроились по двое в ряд.

— А теперь — внимание! Впереди будет крест. Ты, Рубини, выйди вперед, на расстояние десяти метров от остальных, и подними руки, как будто несешь шест с крестом.

Рубини отделился от группы, вышел вперед и застыл с поднятыми руками. У директора глаза блестели, как каштаны.

— А вы, — обратился он к нам начальническим тоном, — не спускайте глаз с креста, тогда не будете зевать по сторонам. Не надо смотреть в землю, словно вы боитесь людей! Смотрите на крест, это всегда лучше, чем глазеть на людей. Вот молодцы! Держитесь прямо! Руки сложите. Черт подери, где же ваши четки? Перебирайте их все время, даже когда будете петь! За крестом пойдут сиротки. Фаббри, встань сюда, сразу за крестом! Чуть подальше, вот так. Фаббри изображает сироток. После сироток пойдут дочери Марии*.

Отец-директор преобразился: он походил на генерала, который командует солдатами во время маневров.

— Ты, Рубини, с крестом, продвинулся немного дальше, шага на два. Так. Дойди до угла дома и остановись. Сиротки, ближе к кресту! Вентури, иди сюда! Ты изображаешь дочерей Марии. Держись от сироток подальше, ведь дочерей Марии много. Ты, Освальди, будешь изображать плакальщиц. А ты, Маньи, встань около того дерева, в затылок стоящим впереди, в де-

* Дочери Марии — монахини католического ордена, названного именем богоматери.

сяти шагах от плакальщиц. Ты будешь изображать стариков из богадельни!

Он перевел дух и оглядел своих расставленных по местам клириков. Спускался густой туман, все вокруг покрылось влагой. Короткие лезвия света, отбрасываемого висевшими во дворе лампочками, с трудом прорезали сумерки.

Мимо нас прошел закутавшийся в плащ брат Элеутерио, сапожник.

Отец-директор позвал его:

— Идите сюда, брат мой! Вы повидали немало похорон в этом городе, у вас есть опыт. Встаньте там, в конце; вы будете катафалком.

Когда процессия была налажена от начала до конца, отец-директор отошел на несколько шагов, чтобы окинуть ее взглядом со стороны.

— Прекрасно! — похвалил он. И дал знак начинать.

Клирик с крестом на шесте направился по дорожке, которая шла посредине сада. За ним медленно двинулись остальные: клирики, изображавшие сироток и приюта, дочерей Марии, стариков из богадельни и плакальщиц. Наша группа ориентировалась на впереди идущих, как морские суда на бакены во время сильного тумана.

В тот момент, когда тронулся с места брат Элеутерио, изображавший катафалк, по сигналу директора весь хор запел «*Miserere*» *. Шагая в такт пению, мы трижды обошли сад. С веток тополей капал дождик.

Наконец мы вернулись в дом. Директор был очень доволен репетицией и распорядился выдать перед сном каждому по стакану горячего вина для укрепления голосовых связок.

На следующее утро, выстроившись по двое, в новых рясах, аккуратно перекинув через руку стихари, мы в полном молчании отправились в церковь.

По дороге, тоже направляясь в церковь, шли одетые в черное фермеры. А по обочинам, прервав работу, набросив накидки поверх испачканной глиной одежды, немой вереницей тянулись многочисленные батраки.

* «Помилуй мя» (лат.).

Наша длинная черная цепочка двигалась посреди дороги, мимо стоявших кучками жителей, отпускавших по нашему адресу восхищенные реплики. По мере того как мы продвигались вперед, хозяева запирали магазины и лавки — как во время крестного хода, и тоже направлялись к дому покойной.

Мы пришли раньше назначенного срока. В ожидании остальных участников похоронного шествия мы громко молились. Все вокруг, с восхищением глядя на нас, говорили:

— В этом году их на два меньше.

— Зато эти взрослее.

— Многие в очках...

— Еще бы, столько приходится читать...

— Жалко, что их не было на похоронах моего бедного Джузеппе.

— Ах, если бы у меня был такой сын!

Тем временем подросли сиротки, дочери Марии в белом одеянии с голубыми лентами, и плакальщицы — кучка одетых в желтое старух с терновыми венцами на головах. Притащились, опираясь на палки, старики из богадельни. На головах у них были ермолки. От них дурно пахло.

Когда пришел священник с капелланами, мы быстро надели стихари, и руководимая отцом-директором процессия тронулась.

В катафалк были впряжены две рыжие лошади с траурными лентами; двое мужчин, одетых в черное, вели их под уздцы. Поначалу, первые сто метров, каждая группа пела и молилась, как хотела; потом отец-директор взял инициативу в свои руки и мы запели «Miserere».

Вся процессия замолкла; люди зашагали в такт пенню.

Мы трижды обошли вокруг города. Шествие закончилось на церковном дворе: под звон колоколов все стали подниматься на паперть и заходить в церковь. Набилося полно народу. Мы пробирались вслед за отцом Веньери, который через неф устремился к стоящему за алтарем органу.

Стены церкви были украшены длинными тяжелыми

черными полотнищами с серебряной каймой. Когда гроб поставили на ковер между зажженными свечами, мы запели реквием.

Пономарь, раздувавший меха органа и время от времени выглядывавший из-за алтаря — проверить, все ли в порядке, вдруг заметил, что одна из больших свечей, стоявших возле гроба, медленно клонится набок. Он бросил рукоятку мехов и через весь клирос стремглав помчался к гробу. Орган, исчерпав запас воздуха, стал терять звук. Отец-директор, в состоянии крайнего волнения, изо всех сил нажимал на клавиши, но безуспешно. Обеспокоенный этим, он повернул голову, увидел, в чем дело, и сквозь зубы прошипел:

— Серафими! К рычагу!

Я ринулся к органу и нажал на рычаг как раз в тот момент, когда трубы издавали последние слабые звуки.

— Не теряйтесь, ради бога! Пойте громче! Нажимай на рычаг! Поддай побольше воздуха! У органа вместительные легкие.

Месса прозвучала прекрасно, в полный голос, как на пасху. Позднее мы узнали, что многие из присутствовавших в церкви плакали. Только доктор не выказал волнения и в течение всей службы не отрываясь смотрел на гроб.

Когда месса кончилась, все разбрелись, и на кладбище за катафалком, кроме нас, отправилось всего несколько человек.

У доктора был такой спокойный вид, как будто он собирался наносить ежедневные визиты своим больным. Что же его поддерживало? Или у него в позвоночнике стальной стержень, который не дает горю сломить его? Отец-директор говорил потом, что эта удивительная выдержка свидетельствовала не только о силе характера и прочих человеческих достоинствах доктора, но и о том, что длань божья, несомненно, уже коснулась его. Я пылко молился за то, чтобы он прозрел.

После погребения доктор обошел нас всех, каждому пожал руку и сказал несколько слов благодарности. Когда он остановился возле меня и я смог взглянуть ему в глаза, у меня появилось предчувствие, что божья благодать все же снизойдет на него.

Группами по несколько человек мы направились обратно в новициат. Жители, после отпевания вернувшиеся к своим занятиям, почтительно нас приветствовали. Блеклое солнце чуть пригревало затвердевший грунт дороги; вороны, громко каркая, кружили над полями в поисках пищи.

Уже пробило полдень, и мы прошли прямо в трапезную. Отец-директор, отец-наставник и заместитель отца-наставника стояли на своих местах за столом и, приготовившись к молитве, ждали нас. Мои товарищи, подходя, шарили глазами по сторонам, по-видимому ожидая увидеть нечто необычное. «Наверное, сегодня подадут особый обед», — с радостью подумал я. После утра, проведенного на воздухе, очень хотелось есть.

Еда, которую нам подавали обычно, была скудная, водянистая, безвкусная; она лишь умеряла голод, но не утоляла его. В тот день трапезная имела необычный вид: кроме наших тридцати приборов, на других столах стояло еще тридцать. Чтобы удостовериться, не ошибся ли я, я пересчитал их снова. Кто мог прийти к нам в гости? Наверняка не монахи нашей конгрегации, уже давшие обет, потому что их усадили бы за один стол с наставниками. Может быть, пригласили бедных? Но в городе был всего-навсего один нищий, который приходил ежедневно за тарелкой супа; однако он уже сидел во дворе и обедал. А может быть, ждут послушников францисканских монахов, которые живут в нескольких километрах от города? Они как-то приезжали к нам с визитом. Как было бы хорошо поговорить с другими братьями, узнать, какие у них порядки, как они живут!

Мои товарищи тоже с любопытством поглядывали на пустующие тридцать мест.

Раз накрыли столы, значит, гостей ждут к обеду; следовательно, нечего зря ломать себе голову. Пока будем слушать мартиролог*, откроется дверь и они войдут.

Старшие были поглощены собственными мыслями; служители подносили глиняные миски с супом; но во

* Перечень мучеников и святых, а также принятых ими мучений.

время еды никто не спускал глаз с пустующих мест.

Посреди обеда раздался звонок; отец-директор встал и поспешно вышел.

«Приехали», — подумал я.

Через несколько минут отец-директор вернулся к столу, сказал что-то на ухо отцу-наставнику и снова принялся за еду. Пообедав, мы встали и вышли, не преминув еще раз посмотреть на тридцать нетронутых кусков хлеба (с каким удовольствием мы бы их съели!).

Во время перемены о таинственных тридцати приборах никто не обмолвился ни словом, а наставники, вместо того чтобы поговорить с нами, отправились гулять в сад. Когда к вечеру, после пения и службы, мы пошли в классную комнату читать Родригеса *, обнаружилось, что к каждой парте, обычно предназначенной для одного человека, было подставлено еще по стулу. На парте лежала стопка книг, в том числе устав новициата, сочинение Родригеса и некоторые жития святых.

«Может быть, ждут приезда других собратьев, но откуда? Уж конечно, не из Италии. Возможно, из наших миссий на экваторе? Наши миссионеры обратили их в христову веру, и теперь из них хотят сделать спасителей заблудших душ. Быть может, они опоздали на поезд или запаздывает пароход? Но они приедут, непременно приедут!»

Я привел в порядок книги своего неизвестного соседа по парте и прислонил к ним давно припрятанный мною бумажный образок пречистой девы. Интересно, что он из себя представляет, этот мой будущий сосед по парте? Говорит ли он по-итальянски?

Мое предположение было подкреплено появлением в дортуаре тридцати дополнительных кроватей. На ковриках стояли наготове туфли на деревянной подошве, на спинках кроватей были развешены рабочие ряссы.

Вошел закутанный в накидку отец-директор. Он пристально оглядел комнату; поглаживая изголовья, пересчитал незанятые кровати.

* Родригес — генерал ордена иезуитов, автор пространного сочинения о правилах поведения членов монашеского ордена.

На завтрак мы ели черствый хлеб, пролежавший до утра возле дополнительных тридцати приборов.

Во время перемены я поделился своими мыслями с одним клириком из Пьемонта, дежурившим вместе со мной по уборке туалетов. Он питал ту же надежду, что и я, и тоже считал, что нет ничего удивительного в том, что люди, добираясь из Южной Америки, задерживаются в пути на один-два дня.

Между тем наставники продолжали отмалчиваться, а обратиться к ним с вопросом никто не решался.

Прошло несколько дней, и мы привыкли к безмолвному присутствию тридцати новых товарищей. Хотя они еще не прибыли, мы так живо представляли их себе в своем воображении, что, как нам казалось, давно пожимали им руки, разговаривали, работали, обедали вместе. Более того: послушник, отвечавший за метлы, спешно мастерил новые, а пономарь был весьма озабочен тем, что не мог достать тридцати новых стихарей.

Какое это будет событие, когда мы выйдем все шестьдесят человек на похороны! На нас сбегутся смотреть со всей округи. Шутка сказать, ведь если нас будет на тридцать человек больше, то можно будет разучить реквием в четыре голоса! Будущий год представлялся мне годом великих чудес. Конечно, придется удвоить число обслуживающих за столом. Я сомневался, достаточно ли у монахинь кастрюль и поварешек. Возникнет некоторое затруднение и в связи с утренним умыванием: не хватит умывальников. Мы, итальянцы, не сговариваясь, решили, что, разумеется, будем уступать первое место нашим иностранным собратьям.

Прошло пять дней нашего совместного житья с воображаемыми новичками. Дело было к вечеру. Небо за окнами темнело. В классную комнату вбежал красный от возбуждения отец-директор и крикнул:

— Прыгайте через окна и бегите в сад! Быстрее, быстрее!

И сам распахнул одно из окон.

Мы были ошарашены. Прыгнуть в окно? Мы, привыкшие к размеренному шагу даже во время «передышек», приученные говорить только вполголоса, будем

прыгать через окна? По правде говоря, опасности не было никакой, так как классная комната была расположена на первом этаже. Но мне казалось неприличным резко распахнуть окно, не то что прыгать!

Отец Веньеро, заметив наше замешательство, бросился к следующему окну, открыл его и, схватив за руки оказавшихся поблизости клириков, потащил их к подоконнику. Помощник отца-наставника, находившийся с нами в комнате, выпрыгнул первым. Мы бросились за ним — прыгнули на землю и побежали по садовой дорожке мимо пруда, в самый конец сада. Пересекая участок свежеспаханной земли, мы промочили ноги и выпачкали башмаки. Добежав до ограды, мы остановились и в кромешной тьме старались заглянуть друг другу в глаза. Кто-то робко затянул молитву, но помощник отца-наставника остановил его.

— Соблюдайте полную тишину! Молитесь за благополучие новiciата, но про себя, — угрюмо произнес он.

Никто не мог понять, что происходит. Неужели к нам нагрянули враги церкви? Слава богу, что новички еще не приехали, а то какая была бы неприятность для конгрегации!

Рядом с нашим садом находилась железнодорожная станция, и я, забравшись в укромный уголок возле высокого плетня, мог сквозь сетку ветвей следить за маневровым паровозиком, тащившим в тупик несколько товарных вагонов; прорезавшие тьму желтые фары напоминали глаза огромного кота.

Все молча перебирали четки, благоговейно целовали крестики.

Через полчаса туман перешел в моросящий дождь. От него, как от гнилой паутины, у нас слиплись волосы, лицо и одежда намокли. Все кашляли. У меня тяжело стучало в висках.

Помощник отца-наставника подозвал меня и еще одного семинариста.

— Сходите в дортуар за пальто, — попросил он. — Только, пожалуйста, незаметно... Войдите в дом через кладовую. Смотрите, чтобы вас никто не видел!

Мы пошли. Я взглядом попрощался с товарищами,

не выпуская из рук четок, уверенный, что иду навстречу смертельной опасности.

Перед нами возвышалась темная махина новициатского дома, смотревшая на нас вытянутыми вверх глазами освещенных окон. Мне казалось, что я вижу его впервые.

Подойдя ближе, я заметил, что освещенные окна классной комнаты все еще распахнуты настежь.

Я обернулся. Мой товарищ, немного отстав, остановился в нерешительности.

Чтобы меня не увидели, я стал красться вдоль стены дома. Вдруг до меня донесся голос отца-директора, к которому примешивались другие, незнакомые голоса.

— Как вы можете сами удостовериться, на нашем попечении шестьдесят учащихся. Это хорошие юноши, готовые стать служителями церкви. Но они бедны и нуждаются в помощи, — говорил директор.

— Для того мы сюда и приехали, ваше преподобие, — отвечал незнакомый голос. — Полковник американской армии Фалуэлл и полковник Джонсон прибыли специально для того, чтобы лично установить, в чем вы нуждаетесь, познакомиться с наставниками и с учащимися.

Послышался голос другого человека, который перевел эти слова на английский язык; каждая фраза сопровождалась громогласными «йес» и «окей».

— Шестьдесят учащихся. Значит, в этом году намного больше, чем обычно? По данным, имеющимся в нашем распоряжении, в прошлые годы их было в среднем тридцать...

— Господин офицер, — продолжал отец-директор. — На то воля божья, как и когда призывать ему к себе служителей своих. Милосердие господя беспредельно. В этом году ему было угодно выбирать из числа избранных своих, не скупясь. Ведь у душ человеческих столько потребностей!

— Разумеется, разумеется, — отвечал офицер.

— Возблагодарим же его за то, что он ниспослал свою милость именно на этот новициат, который мне, недостойному, поручено возглавлять.

Он воздел руки, продолжая шевелить губами, как будто шептал молитву.

— Мы рады за вас, отец-директор! Но господа офицеры хотели бы лично познакомиться с послушниками и, кстати, вручить им подарки от американских католиков. Знаете, в таких делах они очень щепетильны.

— Скажите господам офицерам, что, к моему великому сожалению, сегодня вечером наши подопечные отправились в соседнюю деревню на похороны и вернутся не раньше, чем часа через два. Ведь им надо добираться туда и обратно пешком. Если бы вы были столь любезны и предупредили о своем приезде заранее, я бы их оставил дома.

— Видите ли, мы разъезжаем по учебным заведениям уже несколько дней. Мы делаем все, что в наших силах. Но неужели дома не осталось даже нескольких послушников?

В этот момент, снедаемый любопытством, я приподнялся и заглянул в окно. Отец Веньеро меня увидел и позвал громким голосом. Я вошел в классную комнату, жалкий и промокший.

— Ах, боже мой, оказывается на улице дождь! Ты пришел за зонтиками, да? Разве похороны кончились и твои товарищи уже возвращаются?

— Да, идет дождь... меня просили захватить и пальто тоже.

— Как называется деревня, в которой сегодня были похороны? — спросил офицер.

— Скаленге, — поспешил ответить отец-директор. — Если ехать из Турина, то это на две остановки ближе, чем Вигоне.

Меня душил кашель, он не давал мне говорить. Я стоял, прикрыв рот платком. Мне казалось, что лицо мое стало пунцового цвета.

Отец-наставник, который стоял рядом с директором, опустив глаза, и за все время не произнес ни слова, вынул из кармана чистый носовой платок и вытер мне волосы. Два американских офицера о чем-то оживленно говорили, с недоумением показывая на мои покрытые грязью башмаки и промокшую рясу. Солдат, стоявший по стойке «смирно» в нескольких метрах от группы, по знаку одного из офицеров вышел из комнаты и вскоре вернулся с большим туго набитым мешком. Американ-

цы развязали мешок, высыпали его содержимое на пол, после чего стали нагружать меня пакетами, мешочками, коробками.

Я смотрел на яркие пакеты, не помещавшиеся у меня в руках, а отец Веньеро держал опорожненный мешок и бросал на меня восхищенные взгляды. На губах итальянского офицера блуждала легкая улыбка, он следил за происходившей сценой, скрестив руки на груди и медленно покачиваясь с носков на пятки.

Отец-наставник нервничал. Он отвернулся к стене и изучал корешки книг, выстроившихся на книжных полках.

Тогда итальянский офицер объявил, что на следующий день будет выслан грузовик со вспомоществованием, после чего офицеры вытянулись в струнку в знак приветствия, пожали руки священникам и, оживленно переговариваясь, вышли.

*

В комнате рядом с дортуаром было шесть эмалированных умывальников и четыре душевых кабины. Разбрызгиватели заржавели, потому что душем никто никогда не пользовался.

Каждое утро после завтрака нам вменялось в обязанность производить получасовую уборку помещения. Я так и не понял, была ли уборка умывальной и уборных задумана как средство укрепления в послушниках духа смирения или же составляла одно из повседневных дел. Как бы то ни было, собратья несли дежурство безропотно и прилежно.

На следующее утро после посещения новичиата американскими офицерами я дежурил по уборке умывальни, а Кристиани и Морелли чистили уборные. Я тряпкой и песком тер пожелтевшие сальные умывальники, соскребал щепочкой грязные пятна, а двое других дежурных, вооружившись тряпками, банками с песком и палками, надраивали уборные. Кристиани посыпал плиточный пол песком, а Морелли, стоя на коленях, смывал его мокрой тряпкой.

Из коридоров и из комнат доносились шорканье щеток и запах мокрых опилок: там подметали пол. Во дво-

ре слышался скрип колес по промерзшей земле: это возили на тележке дрова для кухни.

Вдруг, распахнув ударом коленки дверь, в умывальную вошел отец-директор. В руках он держал массу каких-то банок и баночек.

— Песком ничего не сделаешь, — заявил он. — Трешь, трешь — и никакого толка. Эти умывальники становятся с каждым годом все чернее и безобразнее. Трудно поверить, что, когда мы их привезли, они были белые как снег. С помощью вот этого чудодейственного американского порошка они у вас засверкают, как новые. — И, взяв наугад одну из многочисленных банок, которые он перед этим расставил на мраморной полочке умывальника, он протянул ее мне.

— Что тут написано, я не понимаю, — добавил он, с улыбкой вертя в руках банку, — но, судя по тому, что здесь нарисована ослепительно чистая кастрюля, это годится и для умывальников, и для уборных. Эй, кто там дежурит по уборным? Идите возьмите американский порошок!

Кристиани и Морелли, красные, смущенные, с тряпками в руках, вышли вместе из одной уборной. Отец-директор удивленно и строго на них посмотрел и, явно помрачнев, сухо проговорил:

— Убираться надо по одному. Чистите тщательно, но прошу вас не задерживаться. Американский порошок расходуйте экономно, это не песок, его на берегу реки Пелличе не наберешь. — И побежал вниз по лестнице.

Американские офицеры сдержали обещание: во время утреннего размышления к нашему дому подъехал военный грузовик. Услышав, как он разворачивается во дворе, отец-директор с сияющим лицом выбежал из церкви. Солдаты целых полчаса таскали ящики, пакеты, жестяные коробки. Все это они составили на полу в комнате отдыха.

В суматохе все время слышался голос отца Веньеро, умолявшего обращаться со всей этой божьей благодатью поосторожнее.

— Повозитесь лишние четверть часа, зато получите угощение: бутылку барберы. Только, во имя всего

святого, не торопитесь, будьте осторожны, вы же сыплете яичный порошок по всей комнате! — упрашивал он, умоляюще сложив руки.

Чтобы перетащить продукты в кладовую, понадобился целый день. Отец-директор проверил и занес в список все до мелочи. Брата Элеутерио, который перетаскал один все пакеты, отпустили спать пораньше.

Под воздействием американского моющего средства грязь с умывальников постепенно исчезала.

— Осталось оттереть еще за два года, — говорил отец-директор, останавливаясь в дверях. И вращал сжатой в кулак рукой, делая вид, что оттирает грязь.

— Три сильнее! Ведь ты из трудовой семьи...

Когда отец-директор уходил, Кристиани и Морелли распахивали двери уборных и смеялись.

У меня на руках были цыпки от холода. Порошок забивался в ранки, и они саднили невыносимо. Взбив белую мягкую пену, я быстро протирал умывальники. Руки согревались, как будто я держал их в горячей воде, но белый порошок оседал в трещинах, и без того покрасневшая кожа становилась багровой. Для того чтобы хоть на минуту почувствовать облегчение, я подставлял руки под струю холодной воды.

Кровати «американских» братьев были убраны и вынесены на чердак; исчезли и тумбочки, и туфли. Тарелки и салфетки, разложенные возле тридцати новых приборов, вернулись на прежнее место — в шкафы мохавинь. Никто ни о чем не спрашивал.

Теперь нас кормили не капустным супом, а мясным бульоном, густо заправленным зеленым горошком. Новое блюдо никому не нравилось. Это чувствовалось по тому, как стучали и шаркали ложки по железным тарелкам. Необычные звуки сливались с голосом собрата, читавшего очередной отрывок из жития святых.

Кристиани ничего не ел. Глаза его выражали страдание. Морелли не отрывал от него взгляда. Они оба сидели напротив меня, держась за руки. Может быть, Кристиани тоже не нравился суп с горошком? Он беспрестанно облизывал губы, они у него все время были мокрые. Было даже немного неприятно смотреть, как

он своими влажными пухлыми губами медленно слизывает с ложки зеленоватую густую жижу.

Вот уже с неделю небо было затянуто серой пеленой, но было слишком холодно, чтобы мог пойти снег. С Альп беспрерывно дул ветер.

Отдыхали мы теперь только в помещении. Старались двигаться медленно, чтобы не очень стучать деревянными подошвами. Загар с нас сошел, лица у всех были бледны, усеяны прыщами и фурункулами.

— Вы мало двигаетесь, — заявил как-то отец-директор перед репетицией хора. — У вас плохое кровообращение и происходит интоксикация всего организма. Вы страдаете запорами, от этого у вас плохое настроение, а значит, и господа вы служите без радости. Среди подарков, которые прислали нам наши американские друзья, я обнаружил пакет с витаминами. Мы их вам раздадим.

Кристиани и Морелли в это время не было в комнате отдыха. Они, наверное, кололи дрова в сарае. Удары топора распугивали ворон, примостившихся на ветвях лип во дворе. Отец-директор долго стоял у окна, глядя на деревянной сарай.

В последний день моего дежурства он пришел проверить работу.

— Отлично. Ни пятнышка! У меня такое чувство, словно я помолодел на пятнадцать лет. Идите сюда, посмотрите вы тоже! — продолжал он, направляясь к уборным.

Он открыл дверь, за которой слышалось постукивание палочек об эмалированное железо. Морелли, стоявший на коленях, вскочил; Кристиани, выпучив глаза, оперся о стену. Отец Веньеро остановился как вкопанный, сжимая ручку двери. Я видел его сбоку, он был бледен. У него задержались щеки. Он мягко произнес:

— Идите ко мне в комнату. Мне надо с вами поговорить.

*

В тот день вечером, когда мы вышли из классной комнаты, шел снег. С горы Червино дул пронзительный ветер. Несколько лампочек, горевших во дворе,

плясали на ветру. На только что выпавший снег, освещенный призрачным светом, легли кривые тени деревьев. За садом сплошным ровным полем, без единого огонька, простиралась черная земля.

Оказавшись после теплой классной комнаты в ледяной атмосфере комнаты отдыха, я сразу озяб. Я потерял руки, энергично встряхнулся, как будто мог избавиться таким образом от бегавших по спине мурашек, и плотнее закутался в пальто.

Собратья сходились замкнутые, молчаливые, перебирая четки и готовясь к вечернему размышлению. Лица у всех были похожи на белые гипсовые маски, глаза грустные. Я не видел среди них ни Кристиани, ни Морелли. В полдень их тоже не было. Их места за столом пустовали.

Во дворе сильно стучала о стену дома ставня одного из окон дортуара; ветер свистел в проводах, вздымал облака снега, словно то был не снег, а пыль. Толстый слой снега лежал на кое-как слеполенной из кусков листового железа крыше деревянного сарая. Я в растерянности смотрел в окно, как будто эта первая зимняя метель дала мне реально почувствовать, насколько бедно и безотраднo мое существование. Я оглядывался вокруг, стараясь обнаружить какой-нибудь признак жизни, но видел только торчавшие в цветочных горшках голые черенки герани, выстроенные в ряд на полке и обернутые тонкими зелеными нитками, отчего они походили на миниатюрные деревья, увитые микроскопическими лианами.

Когда прозвонил звонок, возвестивший час размышления, вдруг погас свет, но мы все равно направились в церковь. Пламя лампы, горевшей перед алтарем, отбрасывало алые блики на подсвечники, на стекла окон, на мраморные перила балюстрады. Другого света не было. От ветра, проникавшего в щели окон, огненный язычок в лампаде колебался, будто порхая в воздухе, и временами почти угасал.

Из ризницы вышел брат Элеутерно, поднес зажженную свечу коленопреклоненному собрату, которому предстояло читать очередную тему размышления. По знаку отца-директора мы сели. Чтение началось:

«Приготовление к смерти святейшего монсеньёра дона Альфонсо де Лигуори. Рассуждение первое. Портрет человека, недавно отошедшего в иную жизнь. Пункт второй. Но чтобы лучше узреть, кто ты есть, христианин мой, говорит святой Иоанн Златоуст, *perge ad sepulcrum, contemplare pulverem, cineres, vermes, et suspiria* *. Взгляни на труп: сначала он желтеет, потом чернеет, затем уходит в землю мягкой зловонной гнилью, в которой плодится великое множество червей, питающихся сей плотью».

Чтение прервалось. Руки мои лежали на коленях; при мерцающем свете свечи пальцы на фоне черного сукна рясы казались особенно белыми и костлявыми. Придет день, когда мясо с этих рук сойдет, останутся только фаланги — отдельные белые косточки на тонком слое тлена.

В воцарившейся тишине ясно прозвучал голос отца-директора. Ударив себя в грудь, он произнес:

— *Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa* **.

Ветер хлестал по окнам, ставни стонали, и, когда в церкви на несколько секунд зажегся ослепительно белый электрический свет, мы инстинктивно подняли головы. Лица у всех были испуганные, но это длилось одно мгновение; свет снова погас. Не обращая на это внимания, отец Веньеро постучал косточками пальцев по пюпитру, мы встали на колени, и отец продолжал:

«Телом усопшего питаются еще и мыши; одни снуют поверху, другие проникают в рот и во внутренности. Распадаются щеки, губы, волосы; из всех костей первыми оголяются ребра, потом кости рук и ног. Черви, пожрав всю плоть, пожирают друг друга и в конце концов от человеческого тела остается лишь вонючий скелет, который со временем разваливается: кости рассыпаются, голова отделяется от туловища. Вот что такое человек: плевел, занесенный ветром на гумно».

Отец-директор снова ударил себя в грудь:

— *Моя вина, моя вина, моя большая вина...*

* Приступи к могиле, дабы узреть прах, пепел, червей, и вздохни (лат.).

** *Моя вина, моя вина, моя большая вина (лат.).*

Закутанный в накидку брат Элеутерио направился через всю церковь к выключателю, находившемуся неподалеку от алтаря.

«Вот рыцарь, который слыл душой общества. Где он? Войдите в его комнату, его там больше нет. Напрасно вы будете искать его ложе: оно отдано другому. Чужие люди взяли и поделили между собой его одежду, оружие. Вы хотите знать, где он? Загляните в эту могилу, и вы увидите, что от него осталась лишь горстка тлена и голых костей».

Внезапно чтение прервал плач, похожий на собачий лай. Никто не шелохнулся, но все взгляды устремились на послушника, который сидел, закрыв лицо руками. Безудержные рыдания и судорожные всхлипывания наполнили тишину церкви. Отец-директор незаметно подал знак чтецу продолжать чтение священного текста.

Что, если бы я умер в эту минуту? Мне почудилось, что слева кто-то злобно захохотал. Меня охватил леденящий страх, парализовавший все члены. Кто прячется в тени? Каждого человека неизбежно ждет роковой конец: быть съеденным червями. Мое тело — орудие греха: я беспокоюсь о том, чтобы одеть его потеплее, вымыть дочиста, напитать досыта. Но я кормлю, я утоляю голод дьявола! *Ne confundar in aeternum* *. Господи, меня же могут выгнать из новициата, как выгнали Кристиани и Морелли, которые, наверное, бродят сейчас одни в метель, хотя, конечно, виноваты меньше, чем я...

От резкого порыва ветра распахнулось окно, и свеча погасла. Красный огонек возле алтаря заколыхался и осветил лицо брата Элеутерио, проходившего мимо с зажженной коптилкой. Стуча деревянными подошвами, он бросился закрывать окно.

Отец-директор снова подал сигнал: мы встали, чтение возобновилось.

«О господи, во что же превратилось это тело, питавшееся изысканными кушаньями, облачавшееся в пышные одежды, ухоженное столькими слугами? О святые отцы, вы поняли, что на земле надо любить лишь од-

* Да не буду я обречен на вечное забвение (лат.).

ного бога, вы умели умерщвлять плоть свою, зато теперь ваши останки хранятся как священные реликвии среди золота, а ваши прекрасные души блаженствуют в боге, ожидая конечного дня, когда и тела ваши приобщатся к вашей славе, как приобщались они к кресту в жизни сей. Вот в чем состоит подлинная любовь к телу своему: надобно истязать его тут во имя вечного блаженства и отказывать ему в удовольствиях, за которые уготованы вечные муки, любить ближнего своего и молиться. Вот, стало быть, господи, к чему должно сводиться...»

Чтец читал дальше, а отец Веньеро, продолжая бить себя в грудь и произносить молитву «Confiteor», направился к ризнице и преклонил колено перед алтарем. Громким, протяжным голосом он произнес:

— Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini *.

Пока чтец продолжал читать из «Приготовления к смерти», а отец-директор вторил ему все громче и громче, некоторые послушники, сидевшие в первых рядах, вышли в проход и распростерлись ниц. Мало-помалу все опустились наземь. Я тоже касался лбом ледяного мраморного пола, и мне казалось, что я в склепе и сейчас затрубят трубы страшного суда. Никто не шевелился, а директор все бил себя в грудь и повторял:

— Mea culpa...

Не помню, сколько мы так пролежали, но вдруг скрипнула дверь. В церковь ворвалось облако снежной пыли. Послышался голос матушки-поварихи:

— Отец Веньеро, а отец Веньеро! Подите-ка сюда! Ужин готов, рис разварится. Поздно уже...

Отец-директор вздрогнул, поднялся с колен и дал знак, что размышление окончено. В этот момент зажегся свет. Мы выходили из церкви не поднимая глаз.

— Надо удобрить землю в огороде,— сказал отец-директор, выходя из комнаты отдыха в сопровождении Рубини, Соге и Карли и направляясь к дорожке, кото-

* Исповедую бога всемогущего, пресвятую деву Марию непорочную (лат.).

рая начиналась за домом и делила садовый участок на две равные части.— Сейчас как раз время.

Мне хотелось подышать свежим воздухом, и я пошел вслед за ними. Отводные каналы образовали под снегом сетку из вертикальных и горизонтальных полос.

— Каналов много, но вода в них застаивается, особенно весной. Зелень гниет и погибает. Надо их привести в порядок, расчистить. Ведь вы родились в деревне и, надеюсь, знаете, как надо ухаживать за огородом. Этот огород — тоже ваш. Так позаботьтесь же о нем!

Директор брел по снегу, рассуждая о моркови, капусте, салате и картофеле, о том, что от избытка влаги они гниют на корню, а я осматривал простиравшуюся вокруг бескрайнюю снежную равнину, на которой виднелись лишь голые стволы лип.

— Мы бедны, огород нам необходим, — твердил отец-директор.

Вороны прыгали по снегу, потом, мягко хлопая крыльями, с карканьем плавно взмывали в воздух и устремлялись к деревьям.

Карли схватил лопату и принялся ковырять промерзшую землю.

— Какая жирная почва! — сказал он. — Я хочу посадить в этом году финоккьо* и клубнику. По-моему, осушительные каналы должны быть глубже, чем сейчас.

Рубини и Соге стояли, блестя глазами, с покрасневшими от холода лицами и поддакивали.

Я вышел без перчаток, пришлось засунуть руки в рукава. Закоченели ноги; холод постепенно добирался до коленок. Я чувствовал какую-то слабость во всем теле, тупо смотрел на снег, и мне казалось, что я медленно в него погружаюсь, что меня заглатывает эта жирная земля, где обитают розовые дождевые черви толщиной в палец.

Отец Веньеро что-то толковал о необходимости разводить новые культуры. Но он, наверное, отошел дальше, потому что я едва слышал его голос. Впрочем, возможно, то был вовсе не его голос, так как я уже

* Финоккьо — съедобный корень тмина.

был не в Вигоне, а у себя дома, в Монте Берико. Я бежал по чистому, свежавыпавшему снегу, по которому можно было кататься на санках и от которого не было ни сырости, ни холода. Вокруг возвышались холмы, в кристалликах льда отражалось солнце.

В грудь мне ударился снежок.

— Беато Серафини! Вы всегда где-то витаете. Идите к нам!

Это Карли приглашал меня присоединиться к их группе, медленно пробиравшейся между садовых дорожек.

Ветерок сдувал снег с тополей, которые росли вдоль пруда, отделявшего наш огород от полей. Отец-наставник, выйдя из церкви, прогуливался за сараем по дорожке, которую брат Элеутеро посыпал песком; он читал молитвенник. Мы, увязая в снегу, отошли подальше, чтобы ему не мешать. Отец-директор остановил нас около забора, выходявшего на железную дорогу, и сделал знак, чтобы мы замолчали. Он пристально смотрел на отца-наставника: тот медленно шел по дорожке, глядя в книгу, которую держал обеими руками.

— Сколько мне пришлось настаивать в Риме, — начал как бы про себя отец-директор, — чтобы его прислали в наш новициат, хотя бы на год! Я с ним познакомился, когда он только что вступил в орден, но он уже тогда обещал стать выдающимся духовником. Он побывал в двух или трех семинариях, потом его направили изучать богословие. Тому, кто собирается сам служить мессу, нужен сильный духовный наставник. Чтобы его отозвали из Витербо, мне пришлось писать генералу ордена, поставить на ноги всю конгрегацию. Это замечательный священник, крепкий духом и телом. Вы даже представить себе не можете, как он трудится, чтобы сохранить здоровье: много ходит пешком, занимается гимнастикой. Не то, что вы: бродите, точно лунатики, с томным видом, боитесь пробежаться немного, как будто это действительно может нарушить душевное равновесие!

Говоря это, отец-директор рассеянно ковырял снег носком ботинка, как человек, который задумал сказать

нечто важное и лишь ждет, когда представится подходящий момент.

— Нынче, можно сказать, священником быть не трудно. Никто из вас в армии не служил и, пока состоит в конгрегации, служить не будет. Эта привилегия предоставляется нам по конкордату. Точнее, медицинский осмотр вам все равно пройти придется, но отдельно от прочих, и обращаться с вами будут обходительно. Вас, будущих священников, не заставят часами стоять донага раздетыми вместе с другими новобранцами: те всегда рады позубоскалить, уже не говоря об офицерах, которые способны для потехи заставить делать гимнастические упражнения.

Почему-то вдруг распалившись, отец-директор продолжал:

— Я участвовал в военных действиях на Карсе, жил в окопах, был свидетелем жестоких сражений. В дни передышки, в тылу, когда солдаты предавались так называемой красивой жизни, я уединялся в церкви и молил бога, чтобы он помог мне не уронить достоинство моего сана, сохранить способность молиться. В тех условиях было трудно улучшить момент, чтобы спокойно прочитать требник, приходилось иногда запереться в уборной. Впрочем, это не ново, дорогие мои. Вы ведь помните, что Якопоне ради собственного уничижения заперся в отхожем месте, где и написал одно из своих прекраснейших песнопений — то, что начинается со слов «О ликование сердца»... Для святости нужно спокойствие и одиночество. Вам дано и то и другое, стало быть, вам не трудно направить свои стопы по стезе добродетели... Так на чем, бишь, я остановился... Ах да. Возвращаясь я с фронта, и назначают меня заведовать сиротским приютом, в котором было восемьдесят детей от семи до десяти лет. Что это был за приют! Дом — развалюха, пустой, без мебели, кроватей мало, беспорядок; денег — на неделю, не больше. Но я себе сказал: не отчаивайся и не бойся, ибо провидение чада своего в беде не оставит. Свет не без добрых людей, дай им бог здоровья. И действительно, вскоре все у нас было, и я мог подумать о несчастных невинных душах своих сироток. Только стал я направ-

лять их на путь праведный, как меня переводят в другое учебное заведение, еще более бедное и запущенное, чем сиротский дом! При нашем бедственном положении, когда тебя посылают вот так, неведомо куда и зачем, невольно расстраиваешься и думаешь: неужели для того я изучал философию, теологию, священное писание, чтобы побираться с протянутой рукой? Да простит меня бог, не в обиду будь сказано тем, кого он посылает по свету призывать к доброте ближнего. Но такова истина: душа нищего, который изучал святые книги, это, как бы точнее выразиться, нечто вроде отмычки, отпирающей самые сложные запоры. Я знаю, что некоторые из вас жалуются на плохое питание. Мы бедны. А на основателе нашего ордена, когда он умирал, была одна фуфайка, да и та, как паутина,— вся в дырах... Идите в церковь и молитесь, чтоб бог простил вас за чревоугодие. И не забудьте перед тем, как войти, вытереть ноги, ибо щетки тоже денег стоят, а пол, если скрести его без конца, портится. Идите, идите же...

И мы побрели в церковь, потупившись.

Когда звонок возвестил об окончании перерыва, отец-наставник, сделавший большую пробежку, приклонился во дворе к дереву и, прижав обе руки к груди, тяжело дышал. Он улыбался проходившим мимо послушникам и ушел со двора последним. В первый раз после снегопада солнце сияло на безоблачном небе целый день без перерыва.

Было второе воскресенье января. В новициате отмечали большой праздник по случаю пострижения собрата Раймондо Орселли — адвоката, в сорок пять лет решившего принять духовный сан. Нас это глубоко взволновало. Утро мы провели в церкви, присутствовали при обряде пострижения. После торжественной мессы, исполнив песнопения и псалмы, мы вышли на улицу немного оглушенные, с пересохшим горлом, как после долгой прогулки. Брат Раймондо с еще не обсохшим от слез лицом попросил отца-директора познакомить его с нами. Он пока никого не знал и с робкой улыбкой обошел всех, каждому пожал руку, каждого по-дружески обнял. Отец-директор ни

на минуту не оставлял его одного, не сводил с него восхищенных глаз и вполголоса приговаривал:

— Наконец-то у нашей конгрегации есть свой священник-адвокат!

И все время упрашивал его сесть, не переутомляться.

На дворе было светло от снега, и брат-адвокат выразил желание выйти погулять, подышать свежим воздухом. Не желая смущать нас и смущаться сам, он бродил один поодаль. Встречая наши взгляды, он отворачивался; его порозовевшие щеки краснели еще больше. Нам хотелось задать ему сотни вопросов, однако новициат приучает молчать, тщательно взвешивать каждое слово. Поэтому вопросы так и не слетели у нас с языка...

Из этого затруднительного положения нас вывел звонок к обеду. Подгоняемые морозом и голодом, мы почти бегом устремились в трапезную, предвкушая вкусный обед, которым, по нашим расчетам, должно было быть отмечено такое радостное событие, как появление нового собрата. Каково же было наше разочарование, когда мы увидели, что подают те же увесистые, с кирпич, куски мамалыги и кровяной паштет со шкварками из свиного сала, что мы ели в среду, в четверг и в субботу.

После обеда, осоловев от еды, мы, точно ящерицы, вылезли погреться на солнышке. От яркого света болели глаза. Никто не разговаривал. Вдруг среди нас появился улыбающийся отец-наставник.

— Что вы тут делаете? Давайте побегаем по снегу! — предложил он и потащил нас прочь от ограды. Кто как стоял — одни в пальто нараспашку, другие закутанные до самых глаз, — все задвигались, стали неуклюже прыгать, делать небольшие пробежки. Но мы быстро выдохлись и стали похожи на больших обессиленных ворон. Отец-наставник подгонял нас, поощрительно хлопал по спине, кидал в нас снежками...

Худые, темные лица наши на фоне черной одежды создавали полное впечатление вороньих клювов.

Когда отец-наставник вошел с полотенцем на пле-

че в дортуар и сказал, чтобы мы сменили белье, мы с удивлением переглянулись: это было что-то новое. Послушник-гардеробщик принес и роздал чистые майки. Но где переодеваться? Обычно это происходило ночью, при погашенном свете. И хотя дортуар был освещен слабо, никто бы не решился снять рясу и остаться голым до пояса.

— А что, если переодеться в уборной? — предложил Соге.

Хлопали двери, мелькали черные полы ряс; в углу дортуара на полу громоздилась куча грязного белья. Поднялась такая суматоха, что мы переоделись, не обратив друг на друга никакого внимания. Я чувствовал себя поздоровевшим и старательно расправлял на груди чистую майку, чтобы она хорошо прилегала к телу.

В дверях умывальной комнаты меня остановил отец-директор. Он вручил мне какой-то пакетик и велел тотчас отнести его отцу-наставнику.

Комната отца-наставника находилась в конце длинного темного коридора, куда выходили двери помещения монахинь и гардероба.

Отец-наставник взял пакетик, усадил, меня возле письменного стола, а сам достал спиртовку и налил в небольшую кастрюльку воды.

— Спасибо, давно я не пил хорошего чая, — сказал он, зажигая спичку. — Я заварю и на твою долю тоже. Привык я пить чай после обеда. Не могу без него обойтись ни одного дня. Впрочем, чай выдают наставникам во всех коллегиях.

Я наблюдал, как он вскрыл пачку с чаем, достал фаянсовый чайник для заварки, чашки, сахарницу. Он проделывал все это аккуратнейшим образом, внимательно следя за кастрюлькой, из которой уже начинал подниматься пар.

— Вода не должна долго кипеть, — проговорил он вполголоса.

И бросил в чайник две щепотки чаю.

— Вы заметили, как был взволнован сегодня утром перед пострижением адвокат? Прекрасная у него

душа. Я сам постригся давно, молодым, в вашем возрасте. Но когда видишь, что духовный сан принимает человек в летах, сердце радуется и покойно становится на душе: значит твое решение стать священником было принято не по молодости лет, когда человек еще не может полностью разумно, не сгоряча осмыслить всю важность этого шага.

Отец-наставник встал и принялся расхаживать по комнате.

— Налив воду в чайник,— пояснил он,— надо дать чаю постоять не меньше минуты. Да, то был не просто порыв,— продолжал он,— а поистине перст судьбы! Жалко, что у меня кончились лимоны. Придется пить так. Впрочем, чай без лимона еще ароматней.

Чай был горячий и очень сладкий. Мы пили его не спеша. Когда я пришел, меня мучила жажда; от чая она прошла.

— Вы никогда не думали о том дне, когда вам пришлось в голову стать служителем церкви? Если ваше решение было принято в минуту радости, то это одно, но если на вас кто-то оказал влияние, скажем, священник или родители,— то это совсем другое дело. Припомните, как это было; таким образом вы установите, когда вы более склонны обращаться к богу — в час радости или в час печали и испытываете ли вы потребность в помощи человека, который напоминал бы вам о боге.

По-видимому спохватившись, что я застыл с чашкой в руке, отец-наставник вдруг переменял тему разговора:

— А как вам живется в новициате?

Я ответил кратким «хорошо», не задумываясь, как отвечают на вопросы из катехизиса. Боясь выглядеть в глазах наставника человеком, не способным к подвижничеству и самоуничтожению, я решил не говорить ему о том, что мы страдаем от голода и холода.

— Действительно ли хорошо? — переспросил он, не глядя на меня, и продолжал потягивать чай.— Это меня радует, хотя ответ ваш говорит мне мало. На-

пример, нет ли у вас потребности почаще принимать горячий душ?

— Отец-наставник! — выпалил я вдруг. — Будь на моем месте мой отец, он бы вам ответил, что мыться полагается раз в неделю, по субботам, и то в корыте, потому что душ — занятие для господ.

Я чувствовал, что порю чепуху. Но ведь я имел в виду лишь убедить наставника, что в новициате живется отлично и что удобств здесь даже больше, чем у меня дома... Отец-наставник улыбнулся и сказал:

— Ну разумеется! Кстати, у меня дома тоже не было душа. Однако здесь он есть и им можно пользоваться. Иначе для чего нам его подарили?!

Прозвенел звонок к заутрене, и снизу донесся стук деревянных башмаков. Отец-наставник вынул часы и недовольно поморщился.

— Ваш отец, кажется, занимается оптовой торговлей продовольственными товарами? Стало быть, еды у вас в доме всегда было достаточно. Вы уже не маленький, вы учитесь, молитесь и растете на глазах, значит, к столу являетесь с хорошим аппетитом. Хватает ли вам того, что вам дают, или вы бы хотели, чтобы вам давали больше хлеба, супа, мяса? Отвечайте откровенно, не бойтесь: иметь хороший аппетит в вашем возрасте не грешно.

Пораженный откровенностью отца-наставника, я смотрел на него с удивлением. Мне больше не хотелось давать односложные ответы. Увы, мне не терпелось объяснить ему, что я всегда встаю от стола голодным, что кормят нас плохо и что нередко после обеда я подбираю капустные очистки, которые матушка-повариха выбрасывает в огород. Кроме того, я готов был сознаться, что в пятницу ночью, спустившись во внутренний двор, я видел, как резали свиней и, глядя на свежее свиное мясо, допустил чревоугодные мысли. В голове у меня все смешалось. Я смотрел на отца-наставника, а он сидел и испытующе глядел на меня в ожидании дальнейших ответов. И тогда я не удержался и неожиданно для самого себя залился горючими слезами.

В ночь с пятницы на субботу, накануне пострижения адвоката, я никак не мог уснуть. Ноги в ступнях замерзли и отяжелели, как камни, а сверху горели огнем, будто закутанные в шерсть. Кровь циркулировала только до щиколотки, до ступней не доходила. Пальцы ног потеряли чувствительность: я мог их ущипнуть и не испытывал никакой боли. Я садился на кровати и, надев перчатки, долго их массировал, сгибая и разгибая, но безуспешно, как будто мои ноги жили отдельно от всего тела. Я решил натереть их спиртом. Однако, чтобы открыть аптечку, висевшую около двери, мне пришлось бы будить брата-санитара.

Спавший рядом со мной адвокат натянул одеяло на голову и часто ворочался с боку на бок. При тусклом свете ночника мой целлулоидовый воротничок, лежавший на тумбочке, сверкал как зеркало.

Стенные часы на лестнице пробили три.

Монахини, наверное, уже хлопотали на кухне, потому что было слышно, как из крана течет вода, позвякивают ножи и вилки, хлопает кухонная дверь. Во внутреннем дворике заскрипел ржавый блок. Простучали деревянные подошвы по тротуару вокруг дома.

Отец-директор тихонько приоткрыл дверь дортуара, вошел, сделал несколько шагов между кроватями.

Потом, убедившись, что все спокойно, вышел, плотно притворив за собою дверь в коридор. Должно быть, он тщательно закрыл и другие двери, потому что звуков, доносившихся раньше из кухни, не стало слышно.

Внезапно раздался долгий пронзительный войль и хрюканье. Все проснулись, испуганно озираясь, высунули головы из-под одеял.

— Что случилось? — спросил кто-то. И так как ответа не последовало, то все снова уткнулись в подушки. Адвокат наклонился в мою сторону, пристально посмотрел на меня, пододвинулся поближе и шепотом спросил, не знаю ли я, что происходит.

— Режут свиней, синьор адвокат, — объяснил я ему, пальцем показывая в сторону двора, где изредка все еще слышалось хрюканье.

— Сколько же свиней должны прирезать? — весело поинтересовался адвокат и сел на постели.

— Не знаю, — ответил я. — Может, две, а может, и три.

Послышались удары топора, словно кололи крепкие, толстые поленья.

— К сожалению, я очень люблю свинину, — признался я шепотом.

Адвокату было холодно, и он накинул на плечи пиджак. Он сидел и рассеянно смотрел на потолок.

Не уверенный, что адвокат меня слушает, судя по тому как внимательно он ловил каждый звук, доносившийся со двора, я все-таки продолжал:

— Осенью мой отец покупал штук десять свиней, откармливал их картофелем и каштанами, потом резал и продавал. В подсобке под потолком у него висели и колбасы, и окорока, и сало; а в холодильнике стояли овальные блюда с печенкой, с потрохами, с отбивными, со шкварками. Осенью у нас дома каждый день ели свинину...

Адвокат больше не смотрел в потолок, а, улыбаясь, смотрел на меня.

— Я тоже люблю свинину, — сказал он. — Ведь я из Умбрии, а у нас с ума сходят по свиной колбасе: чтобы была перченая, сухая и до того красная, что кажется, будто она замешана на свиной крови. Сейчас мне можно есть только легкую пищу: у меня язва желудка — в концлагере заболел. Почему вы не спите? Хотите, я вам дам снотворного? — предложил он мне, улыбаясь.

— Нет, нет, спасибо. У меня страшно замерзли ноги. Это пройдет. Я надеюсь заснуть и так.

Он снял пиджак и лег на бок, лицом ко мне.

— Как вас зовут? — спросил он шепотом.

— Беато Серафини.

Я лежал не шевелясь и старался уснуть. Я сожалел, что затеял этот пустой разговор, да еще в ночное время. А зарезанную свинью, наверное, уже разделали и отнесли на кухню: оттуда уже слышалось гудение моторчика мясорубки.

— Вы здесь все очень молодые,— сказал адвокат, переворачиваясь на другой бок.— Я думал, что встречу людей постарше.

— Вы долго у нас не пробудете. Как только кончите срок послушничества, вас непременно пошлют в какую-нибудь семинарию преподавать. Если бы вы были врачом, вас сделали бы миссионером.

Адвокат зарылся лицом в подушку и уже не менял позы до тех пор, пока не заснул.

*

Помощник отца-наставника зажег свет в дортуаре и над самым моим ухом пронзительно затянул: «*Venedicamus Domino*» *. Мне казалось, что я только что заснул. Я лежал потный, во рту было горько. Адвокат побежал в умывальную.

Это было накануне его пострижения. На его кровати рядом с пальто, мохнатой шапкой с двумя большими черными кисточками и белым целлулоидным воротничком лежала ряса.

Лишь на одном из умывальников было зеркало, и более взрослые послушники пользовались им для бритья. Зеркальце было небольшое, в жестяной оправе, с яркой окантовкой.

Адвокат вынул из кожаного футляра помазок, мыльную пасту, несколько флакончиков, блестящих коробочек и аккуратно расставил все это на полке умывальника.

Пристально глядя в зеркало, он намылил лицо и кончиками пальцев стал втирать в кожу мыльную пену. Я не сводил с него глаз. На нем была пижама из переливающегося зеленого шелка и на фоне наших черных ряс он выглядел пришельцем из какого-то иного мира. Я подумал, что, выйдя из дортуара в пижаме, он проявил отсутствие целомудрия и стыдливости; но это, конечно, объяснялось только незнанием наших порядков.

Несмотря на плеск воды и шум в умывальниках, из кухни отчетливо доносилось гудение мясорубки.

* «Да восхвалим имя господне» (лат.).

«Сколько колбасы будет в этом году! Нам ее всю не поесть...» — думал я.

Наблюдая, как, завязав четки вокруг запястья, умываются мои товарищи, я отгонял от себя нечистые мысли о колбасе и вдруг с ужасом вспомнил о том, что мне надо готовиться к причастию.

Адвокат, закончив бритье, теперь мыл лицо каким-то очень пахучим мылом. Поглядывая по сторонам, он пригоршнями белой пены осторожно намыливал руки, шею. Казалось, его это забавляло. В туалет набилось много послушников, ожидавших свободного умывальника, и все смотрели на адвоката с недоумением, поражаясь, как можно испытывать такое большое удовольствие от обычного умывания.

В дортуаре приятно запахло одеколоном. Запах был так соблазнителен, что мы вдыхали его, как небесный эликсир. Вдруг Рубини распахнул окно и громко, со злостью, будто прогоняя дьявола, сказал:

— Да хранит нас господь бог от мирских соблазнов.

В то утро я дежурил по уборке на первом этаже. В конце главного коридора возле кухни пол из белых плиток был весь заляпан грязью и забрызган кровью. На стенах тоже поблескивали темно-красные пятна запекшейся крови. Из двери кухни в облаке пара показалась голова отца Веньеро. Увидев меня с ведром и щеткой в руках, он воскликнул:

— Вот беда-то! Даже стены, и те все забрызгали... Никакого уважения к божьему дому нет у этих живодеров. Беато Серафини, сходи-ка за кипятком! Горячей водой отмоемся быстрее.

В этот момент отца Веньеро позвала матушка-повариха, и он захлопнул дверь.

Пока я стоял и размышлял, где, кроме как на кухне, можно достать ведро кипятку, мимо меня по коридору прошел адвокат. Он нес банки с американским порошком, тряпки и щетки для чистки уборных. В глазах его застыл ужас, а руки он держал вытянув вперед, как будто боялся запачкать свое расстегнутое пальто. Он вошел в умывальную комнату, поставил банки на умывальник, положил туда же тряпки, щеп-

ки и снял перчатки. Затем он повесил пальто на оконную ручку, снял с себя и повесил туда же кашне, пиджак и, скривив от отвращения губы, словно собираясь крикнуть «помогите», засучил рукава. После чего он заперся в одной из уборных и спустил воду. Я прислушался: он энергично скреб щепкой пол. Вдруг я увидел, что адвокат выбежал в коридор. На ходу он натягивал на свои холеные белые руки перчатки. В этот момент он оглянулся и увидел меня. Он стоял с бледным перекошенным лицом. Бросившись ко мне, он проговорил:

— Прости меня, брат, но от запаха уборной у меня начинается рвота.

И, набрав воздуха в легкие, точно пловец перед тем, как нырнуть на дно, он вернулся в умывальную и снова заперся в уборной.



Отец-директор уселся за фисгармонию, бросил на спинку стула пальто и нажал на педали, чтобы меха наполнились воздухом. Потом мягко положил свои сильные пальцы на клавиши и взял несколько аккордов. Мы сгрудились вокруг фисгармонии с молитвенниками в руках и смотрели на него с восхищением. То он играл обеими руками, то одну отрывал и, растопырив пальцы, плавно ею помахивал. Потом отнимал обе руки и вновь опускал их на клавиатуру, извлекая такие звучные аккорды, что дрожали стены.

Он поднимал голову. Лицо его было серьезно, он смотрел на нас в упор, но думал о чем-то своем.

— Неужели эти звуки не согревают вас, не волнуют? Вы невозмутимы, как евреи перед чудесами, творимыми господом. Во имя святой Цецилии, покровительницы пения, сбросьте пальто, накидки! Что вы за послушники, если на вас даже музыка не действует?!

Он сверкал глазами, кусал губы, пальцы его бежали по клавишам, туловище раскачивалось, как у велосипедиста на подъеме.

— Мне нужны голоса, голоса! Шестьдесят, сто го-

лосов, обученных григорианскому пению. А ты, госпо-
ди, посылаешь мне этих безголосых оболтусов, у ко-
торых нет за душой ничего, кроме благих намерений.

Он со смехом вставал и прохаживался среди нас.

— Возьми до! — обращался он к Соге. — Ниже, еще
ниже! Набери воздуху в грудную клетку, чтобы она
раздалась, как меха гармонии. Избавься от фальшивых
нот. Они, как гнилые яблоки, заражают и те, что ле-
жат рядом. Мы должны сделать приятный сюрприз
нашему новому собрату. Завтра — день его постриже-
ния. Исполним для него «Ессе fidelis servus» * в три
голоса!

Мы репетировали до позднего вечера. Отец Венье-
ро перестал петь, лишь когда совсем охрип. В то вре-
мя как звонил звонок, звавший на ужин, отец-дирек-
тор, утирая пот, говорил:

— Как учитель пения я каждый год выражаю же-
лание, которому, увы, никогда не суждено сбыться.
Наверное, господь бог наказывает меня так за мое
тщеславие. Мне бы хотелось, чтобы здесь, в этом за-
ле, в день поминовения усопших в присутствии город-
ского духовенства и властей был исполнен «Реквием»
Моцарта. Но увы...

Отец-директор сокрушенно поник головой. Поспеш-
но засовывая носовой платок в карман ряс, он тихим
голосом продолжал:

— Господи, прости меня грешного, я сам не ведаю,
что говорю!

И захлопал в ладоши, давая знать, что пора идти
в трапезную. Там брат Элеутерио, взобравшись на
стремянку, развешивал под потолком разноцветные бу-
мажные фестоны и флажки.

*

Отец-директор прошел через весь дортуар и с сия-
ющей улыбкой на лице остановился у кровати адво-
ката.

* «Раб твой верный» — молитва, произносимая при постри-
жении (лат.).

— Добрый вечер, адвокат Раймондо Орселли! — сказал он. — Завтра повсюду будет веселье, даже в раю.

Адвокат, который уже облачился в пижаму и, стоя на коленях, чистил свои ботинки, покраснел, вскочил и не мог придумать ничего лучше, как начать вытирать носовым платком руки, вымазанные сапожной мазью. И тот и другой были явно смущены. Адвокат, по-видимому, испугался, что предстоит деликатный и трудный разговор, в котором ему придется принять участие. Отец-директор, давно вынашивавший идею этой беседы, решил, что больше откладывать нельзя.

— Чувствуете ли вы себя готовым к важному шагу? — спросил он, присаживаясь на край кровати.

— Я думаю, я надеюсь, что да, — ответил адвокат, бросая на тумбочку испачканный ваксой платок, и, как бы желая отвлечь от него внимание собеседника, продолжал:

— Отец-директор! — (голос его звучал мягко и смиренно). — Я должен вручить вам свою мирскую одежду, можете распорядиться ею по своему усмотрению.

— Ах да, я и забыл. Это хорошо — сразу отрешиться от всего мирского, дорогой собрат! Я буду хранить вашу одежду вместе с вещами других послушников.

Отец Веньеро перебросил через левую руку пальто, пиджак, галстук, кашне и осторожно понес все это к стенному шкафу, находившемуся в нескольких метрах от кровати адвоката. Свободной рукой он стал шарить по карманам в поисках ключа.

— Извините, дети мои, я сейчас! Не хочу у вас отнимать ни одной минуты сна, — проговорил он, обращаясь к послушникам.

Он распахнул дверцы шкафа, снял цветастую тряпку, которой были накрыты висевшие в шкафу вещи, и, расставив руки в стороны, некоторое время смотрел на них. Это были наши пиджаки, усеянные крупинками нафталина; из карманов свешивались старые галстуки, которые мы носили до пострижения.

Отец-директор положил одежду адвоката на стул, наскреб на дне шкафа немного нафталина и привычным жестом — будто кропил святой водой — посыпал им пальто. Затем он взял из мешочка горсть нафтали-

новых шариков и рассовал их по всем карманам костюма. В верхнем кармане пиджака он обнаружил щепотку табачной пыли. Подозвав адвоката, который все еще стоял поодаль и настороженно наблюдал за его движениями, отец-директор медленно высыпал табак на пол, шевеля пальцами так, будто солил суп. У адвоката было серьезное, почти сердитое лицо. Может быть, именно поэтому отец-директор подошел к нему вплотную; растирая пальцами остатки табака и стряхивая их на пол в нескольких сантиметрах от носа адвоката, он проговорил:

— *Vanitas vanitatum et omnia vanitas**.— После чего быстро развесил одежду на вешалки, проверил, во всех ли карманах есть нафталин, и, пока помощник отца-наставника гасил свет, бегом выбежал из дортуара.

В тот вечер я попросил у брата-санитара флакон со спиртом, чтобы растереть себе ноги. С некоторых пор по ночам они у меня холодели и становились твердыми как камень; это было так мучительно, что я не мог спать.

В ту ночь я обмотал ноги шерстяным шарфом; немного полегчало.

Было, наверное, уже очень поздно, когда я вдруг проснулся от острой, режущей боли в щиколотках. Из внутреннего двора, где накануне ночью резали свиней, опять доносились какие-то таинственные звуки. Я не обратил на них внимания. Ноги мои так заледенели, что я решил встать и растереть их спиртом.

Я сидел, свесив ноги с кровати; взгляд мой блуждал вокруг, по постелям, где темнели на подушках черные головы моих собратьев. Ступить на пол я не решался. Я отяжелел, заоченел, и мне казалось, что ноги у меня железные и что, сделав несколько шагов, я не удержусь, грохнусь на пол и всех разбужу.

С трудом поборов это неприятное чувство неуверенности, я вышел из дортуара. На лестнице горел свет; на верхней ступеньке, обхватив руками голову, неподвижно сидел отец-директор. Услышав мои шаги,

* Суета сует и всяческая суета (лат.).

он резко обернулся. По лицу его струились слезы. В смущении я застыл посреди лестницы, зажав в руке флакон со спиртом, не в состоянии выговорить ни слова.

— Беато Серафини! Почему ты на ногах в такой неурочный час? — произнес без особого удивления отец-директор, вытирая слезы ладонью и улыбаясь.

Я пролепетал несколько невразумительных слов по поводу своих одеревенелых ног и мучительных болей и показал флакон со спиртом. Он взял у меня флакон и усадил, намереваясь сам растереть мне ноги. Объясняя, что во время первой мировой войны он был санитаром, отец-директор взял мою ногу, положил ее себе на колени и начал растирать. Мы оба сидели в неудобной позе, холод пронизывал до костей. Он велел мне встать, и мы молча поднялись по лестнице. Он отвел меня к себе, уложил на свою кровать и стал массировать мне ногу шерстяной тряпкой, намоченной в спирте. Мало-помалу суставы стали подвижными, в щиколотке появилась приятная теплота, кожа слегка покраснела.

Я смотрел украдкой на отца-директора. Лицо его разгладилось, он успокоился.

«Отчего он плакал? — размышлял я. — Может быть, случилось какое-нибудь несчастье в новициате или кто-нибудь нанес оскорбление конгрегации? Или он плакал от счастья, радуясь пострижению адвоката? А не могло ли случиться, что, оставшись допоздна молиться в церкви и потом поднявшись к себе в комнату, он вдруг ясно и глубоко осознал свои грехи и заплакал?»

Отец-директор, обливаясь потом, с ловкостью чистильщика сапог надраивал шерстяной тряпкой пальцы моей ноги и пятку. Я сделал ему знак рукой, что достаточно, поблагодарил, прыгнул на пол и прошелся по комнате.

Со двора доносилось громкое жужжание точила и лязг ножей. Отец-директор прислушался и помрачнел. С трудом подавляя гнев, он сжал кулаки.

— Как ты себя чувствуешь, Беато Серафини? — спросил он.

— Благодарю вас, хорошо, — ответил я.

Тогда он подошел, взял меня за плечи и спросил, боюсь ли я темноты. Я ответил, что после той ночи, когда мы бежали из Мадонны деи Прати, ничто мне не страшно, лишь бы со мной были мои четки.

— Молодчина! Из тебя наверняка выйдет миссионер. Послушай, что я тебе скажу...

Оказывается, за несколько часов до этого из рук мясников вырвалась свинья, которую они собирались прирезать, — почувяла кровь и взбесилась. Сейчас, спрятавшись где-то в саду, она ждет рассвета, чтобы убежать в поле. Парни отказываются ее искать, ссылаясь на темноту и гололедицу, говорят, отыщем утром, без спешки.

— Она может обморозиться и подохнуть, — сказал я.

— Нет, это ей не грозит, — возразил отец-директор. — Она лопается от жира, а жир греет, как шуба. Но она может убежать. Кто-нибудь ее поймает — поди потом доказывай, что это наша свинья.

— Правильно, надо ее поймать, ваше преподобие, — согласился я.

Преклонив колена и прочитав молитву «*Si quaeris*» *, мы спустились вниз.

На кухне никого не было. На столах были приготовлены шесты — подвешивать колбасу, клубки шпагата, мешочки с солью, коробочки с перцем, гвоздикой, корицей и мясорубка. Мясники сидели во дворе вокруг костра, над которым висел котел с водой. Одежда их была забрызгана кровью, на земле валялись ножи и топоры. Они пили из больших белых кружек горячее вино.

— Пошли, — сказал отец-директор, подталкивая меня вперед и зажигая электрический фонарик.

— Напрасно вы идете в такую темень, — вмешались мясники. — Никуда ваша свинья не денется. Только спугнете ее. Еще убежит...

Отец-директор захватил веревку, и мы пошли по дорожке, которая вела в огород.

* «Если ищешь» (лат.).

Проходя мимо дровяного сарая, я поднял ветку тополя — вместо палки, так как мои резиновые сапоги очень скользили по обледеневшему снежному насту.

Пучок света, отбрасываемый карманным фонарем, прорезал темноту; вокруг все было бело от снега. Бледный серп луны то появлялся, то заходил за тучи. С Альп дул ледяной ветер. Отец Веньеро заметил:

— Завтра будет солнечный день.

Мы остановились возле забора, в том месте, где мимо огорода шла проселочная дорога. Отец-директор погасил фонарь; мы прислушались, не раздается ли хрюканье. Но не было слышно ни звука.

— Она боится смерти, как богохульник, готовящийся предстать перед судом всевышнего,— прошептал отец-директор.

По спине у меня побежали мурашки.

Он снова включил фонарик, осветил деревья и, передав мне веревку, зашагал дальше. Разбуженные светом вороны слетали с веток, задевая нас крыльями. Зловеще каркая, они улетали в поисках более безопасного места. Снег скрипел под ногами. Мы обшарили все кусты у забора. Я бил палкой по высохшей листве и заиндеветым веткам, когда отец-директор замедлил шаг и, схватив меня за руку повыше локтя, сказал:

— Сколько унижений я натерпелся из-за этих свиней! Сначала надо было выклянчить молочных поросят. Чтобы их прокормить, пришлось посадить картофель и кукурузу, просить крестьян Христа ради обработать наш участок. И вот в этом году,— глаза его сверкнули,— мы зарежем восемь свиней! Мяса в таком изобилии у нас еще никогда не было.

— Возблагодарим господа бога,— прошептал я.

Мы подошли к пруду и, медленно огибая его, осветили ледяную поверхность. Отец-директор нервничал.

— Сюда она не провалилась,— проговорил он, вздыхая с облегчением.— Остается поискать вдоль того забора, который выходит на железную дорогу. Если она там, то не убежит, потому что вдоль забора поставлена металлическая решетка.

Мы подошли к тому месту у забора, где за два месяца до этого нас прятали от внезапно нагрянувших итальянских и американских офицеров. Вдруг рядом послышался такой истошный вой, как будто завывало дикое животное. Отец Веньеро зажег фонарь. Мы обнаружили, что свинья проломила забор и теперь рылом подкапывает металлическую решетку.

Отец-директор с легкостью юноши бросился наземь, подпола к свинье, накинул на одну из ее задних ног петлю и лишь тогда вскочил на ноги.

— Тяни, Беато Серафини! — заорал он.

А сам схватил свинью за ухо и, нещадно колотя ее по шее, заставил вылезти из вырытой ею ямы. Я тянул веревку что было сил. В конце концов свинья сдалась, и мы погнали ее к дому. Она семенила впереди, я крепко держал обеими руками веревку, а отец-директор светил карманным фонарем и вполголоса приговаривал:

— Помнишь стадо свиней, в которых господь загнал нечистый дух? Их было две тысячи. Они бросились в море и утонули. Когда наша свинья сбежала, я на секунду представил себе, что это господь бог загнал в нее все наши преступления.

У вигонских мясников особая система забоя свиней. В ту ночь я с любопытством наблюдал за их работой.

Посредине внутреннего двора было установлено нечто вроде примитивной виселицы: с поперечной перекладины свешивалась продетая через блок веревка.

Стоило нам приблизиться к костру, над которым висел большой котел, как наша свинья опять жалобно захрюкала. Когда мясники, схватив ее за уши и зажав куском мешковины рыло, обвязывали вокруг нее продетую через блок веревку, она упиралась всеми четырьмя копытами. Затем ее приподняли над землей головой вниз и держали так до тех пор, пока, обессилев, она не перестала дергаться. Тогда зажгли большую лампу и один из мясников бросился на свинью с длинным ножом, который он всадил ей в горло. Смертельно раненная, она содрогнулась так, что закрипел блок. Потом виселица, укрепленная как бы на оси, стала вра-

щаться, брызнула кровь. Когда она остановилась, все было кончено: свинья висела осунувшаяся, обескровленная, как пузырь с салом.



Комната отца-директора находилась в нескольких шагах от дортуара; вечером он неизменно вставал, точно часовой, возле своей двери, ожидая, чтобы мы пожелали ему спокойной ночи. Он стоял в домашних туфлях, в ермолке, и на лице его было написано, что он уже приготовился читать вечернюю молитву. Если ему надо было просмотреть какие-нибудь счета или книгу расходов, он делал это тут же, стоя у двери. По-видимому, он хотел, чтобы, проходя мимо него, мы напоминали ему о его (и о нашем) долге. Если отец-директор замечал проходившего мимо Рубини, которому было поручено топить печку в классной комнате, он подзывал его и вполголоса внаштал:

— В этом месяце мы сожгли три кубометра дров. Старайся и ты помогать провидению — попробуй экономить по полену в день. Ведь ты в этом деле понимаешь. Попытайся! Может быть, тебе это удастся...

Согласно уставу, отец-директор вскрывал все адресованные нам в новициат письма. Стало быть, он был в курсе всех наших семейных дел. Вызывая нас к себе, он любил их комментировать. Как-то вечером он сказал Соге:

— Отец написал тебе хорошее письмо. Он рад, что закончил сев, и сейчас ждет, чтобы ты попросил у господ обильного дождя и хороших всходов. Скажи-ка, ваша земля не такое болото, как наша? Зерно у вас не гниет на корню? Наверное, хорошо там у вас, в Тревизо: сады, виноградники. А у нас, видишь, ничего, кроме тополей и орешника, как следует не растет.

Однажды вечером отец-директор позвал к себе и меня. На губах его блуждала улыбка. Он доверительно произнес:

— Я бы хотел познакомиться с твоим отцом. Помнишь, что он писал в последнем письме о своих клиентах? Что надо уметь выуживать у них деньги неза-

метно для них самих. Видишь, как приходится честному человеку изворачиваться, чтобы сводить концы с концами! Но я хочу напомнить тебе другое место из его письма, весьма богоугодное и поучительное. Я даже его себе выписал:

«Когда я стою за прилавком и обслуживаю покупателей, для меня существует только одно правило, то, которое требует смирения, покорности и скромности. Если кто-нибудь плохо со мной обойдется, повысит на меня голос или обидит, я опускаю голову и говорю: «Да, синьор, вы правы, простите». Иначе клиенты пойдут в другое место, отвернутся от тебя. А магазин без покупателей — это все равно что военное судно без пушек. Так же должен вести себя и ты, Беато Сераффини, с твоими наставниками. Может случиться, что тебя незаслуженно поругают. А ты не перечь. Особенно, если уверен в своей правоте. Принеси свою обиду в дар господу и помолись за своего наставника, обремененного столькими заботами и тревогами».

Вечером того дня, когда состоялось пострижение адвоката, отец-директор стоял с печальным лицом, нервно перебирая четки. Когда мы проходили мимо него, он подошел, тронул за плечо меня и еще трех братьев, велел нам выйти из ряда и повел в свою комнату. Там он подошел к большому черному шкафу, занимавшему целую стену, и вставил ключ в замок. Прежде чем распахнуть дверцы, он медленно повернулся в нашу сторону.

— Дети мои, — сказал он, — я целый день ходил удрученный одной печальной мыслью и ни с кем пока ею не поделился. Не хотел омрачать веселье ангелов, посвященное брату нашему — адвокату. Сегодня годовщина смерти великого благодетеля нашего Аннибале Фузано. Это он подарил новициату дом вместе с садом и огородом. Сегодня утром мы не могли отслужить службу за упокой его души. Давайте же, перед тем как отойти ко сну, помолимся за него от имени всех наших братьев.

Директор повернулся к шкафу и, вздыхая, открыл его. На задней стенке, в тени, висел портрет в черной раме. На нем был сфотографирован до пояса сухоща-

вый пожилой мужчина: редкие волосы, тонкие губы, торчащие усы, мешки под глазами. Рамка была украшена веночком из целлулоидных цветов.

Отец-директор, продев руки в венки, пошарил в шкафу, нашел две сгоревшие до половины свечки, укрепил их перед фотографией и зажег. По бокам висела одежда покойного: пиджаки и черные брюки, аккуратно сложенные, покрытые пылью и сильно пахнущие камфарой, плащ, теплые пальто, две мягкие шляпы и одна жесткая черная с широкими полями.

— Вот он, благодетель наш великий, коммендаторе* Аннибале Фузано. А это — его одежда. *Requiem aeternam***.

Не знаю почему, но при виде развешенных в шкафу костюмов и лица синьора Фузано, меня стал раздражать смех. Ни в одежде, ни в лице его, ни в молитве не было ничего смешного, но «*requiem*» соскользнул с моих губ, словно вода со стекла, и я был вынужден потупить глаза. Взглянув мельком на отца-директора, я увидел, что лицо его исказилось, как будто он собирался заплакать, и я ужаснулся своей черствости.

Отец-директор повел свой рассказ ровным монотонным голосом.

Коммендаторе Фузано отдал свое имение конгрегации под новициат. Точнее, он сделал это благодаря ревностной и прозорливой набожности отца-директора.

Терпения потребовалось для этого немало. Когда отец-директор пошел к коммендаторе в первый раз и смиренно просил его помощи в строительстве небольшого новициата, где можно было бы собрать группу юношей из бедных семей, решивших посвятить жизнь служению богу, тот в ответ широко улыбнулся.

— Бедные священники? Да полноте, существуют ли такие? — спросил он, потягивая из маленькой чашечки черный кофе. — Так только говорится. А в действительности священнослужители издавна славятся

* Коммендаторе — почетное звание, официально присуждаемое в Италии за «заслуги перед отечеством» (преимущественно в области промышленности и торговли).

** Вечная память (лат.).

своим умением жить припеваючи, безбедно и беззаботно. Никто, конечно, не отрицает значения моральной поддержки, которую они оказывают людям, и их готовности прийти на помощь в любую минуту. Но слова — чего они стоят?

И он привел в пример оба городских церковных прихода: и тот и другой очень богаты.

— Недаром,— напомнил синьор Фузано,— я всегда отношусь к священникам как к людям, равным мне по положению.

Перед отцом-директором был человек ловкий, обходительный и полный решимости не давать ни одной лиры! Тем не менее отца-директора это не обескуражило и он продолжал навещать его, стараясь не проявлять настырности, два раза в месяц.

Фузано. принимал гостей охотно, обходился с ним почтительно, но подтрунивал, иронизируя по поводу священнического призвания и высказывая предположение, что священникам живется совсем неплохо — и в Вигоне, и в Риме, и в Турине.

Этот словесный турнир мог тянуться бесконечно, но тут скоропостижно скончалась мать почтенного коммендатора. Отец-директор сказал себе: «Сейчас или никогда». И в день похорон, утром, отправился в Вигоне, прямо в дом синьора Фузано, с двумя десятками клириков.

Такого пения на похоронах никто никогда не слышал. Люди, шедшие за гробом, и зеваки, запрудившие улицы, по которым двигалась похоронная процессия, вытягивали шеи: всем хотелось получше рассмотреть молодых попиков, которые старательно пели, уткнувшись в свои пухлые молитвенники.

Неделю спустя отец Веньеро снова явился с визитом к коммендаторе и застал его в удрученном состоянии. Тот как-то ссутулился, на бледном лбу блестели капли пота, волосы на висках еще больше побелели.

— Очень рад, что вы приехали, ваше преподобие, мне надо поговорить с вами по душам. Знаете, я сейчас переживаю тяжелые дни... ведь я был очень привязан к бедной матушке. Я только теперь это понял. Она до последнего дня обращалась со мной, как с ре-

бенком. О чем бы ни шла речь, она всегда начинала со слов: «Послушай моего совета...»

Отец-директор весь превратился в слух, но на всякий случай спрятал глаза за опущенными веками. Он понимающе покачал головой.

— Что она могла мне посоветовать! Боже ты мой, ведь между нами все уже было переговорено тысячу раз. И все-таки она твердила эти слова до последнего вздоха. И я обещал...

Отец-директор сгорал от нетерпения, он сидел не шевелясь, уставившись в пол.

— У муниципалитета много всяких нужд. Вы сами видели, ваше преподобие, какой у них катафалк: горе одно. Идя за гробом, я все время оглядывался: мне казалось, что я вижу свой город впервые. Дома облупились, мостовые разворочены, грязь. Театр похож на сарай. А уж о церкви и говорить не приходится: стекла потрескались, убранство истребалось. Если бы не ваши юные певчие, можно было бы подумать, что хоронят какого-нибудь жалкого бедняка. Я вам помогу, эти дети заслуживают того, чтобы о них позаботились, уделили им внимание. Дайте мне подумать. Все, что смогу, я вам сделаю. Кроме всего прочего, я обещал. Боже правый! Я человек слова и свои обещания выполняю. Немного погодя загляните ко мне еще раз...

Отец-директор понял, что божья благодать вот-вот снизойдет на коммендатора, и смущенно его поблагодарил.

— Я видел, что дверь скоро приоткроется. Оставалось ее распахнуть.

Я пришел к нему снова через неделю. Служанка с заплаканными глазами (видно, горевала по покойной хозяйке) сказала мне, что коммендаторе уехал смотреть за молотьбой на одну из своих ферм, расположенную по дороге на Пинероло..

«Сейчас или никогда»,— решил я, бегом сбежал с лестницы и направился за город. Стояла адская жара. Прежде чем надеть шляпу, я накрыл голову носовым платком, чтобы шляпа не пропотела, отыскал себе палку, чтобы было легче идти, и зашагал. Вокруг пели цикады; с ферм доносился стук молотилок.

А вот и ферма синьора Фузано, обнесенная высокой красной стеной. С гумна поднималось густое облако пыли. Я все более ускорял шаг, потому что чувствовал: божья благодать уже коснулась души коммендаторе, поборола его иронию, сломала колебания, посеяла зерна добрых намерений, и теперь я боялся лишь опоздать — надо было пожинать плоды его доброго расположения. Но знали бы вы, дети мои, какая «награда» ждала меня за мое усердие, какой я получил удар по самолюбию! А я-то раз мечтался, что уподоблюсь святому Франциску Ксаверию!

Захожу я на гумно; треск от трактора стоит такой, что мне с трудом удастся докричаться — объяснить одному из работников, что мне надо видеть хозяина. Тот швыряет на землю вилы и делает мне знак следовать за ним. Боже ты мой, сколько я видел зерна, проходя по двору! Огромные скирды пшеницы... А колосья длинные-предлинные, толщиной в палец. И мешки с зерном штабелями уложены — целый пароход можно было бы загрузить!

Я стал благодарить господ за то, что он дал ему такой обильный урожай, облегчил мою миссию.

Хозяин сидел на кухне, за столом, заваленным бумагами. Увидев меня, он встал, вышел мне навстречу и, слегка улыбаясь, сказал:

— Добро пожаловать, отец, садитесь на эту кушетку. Я скажу, чтобы вам принесли холодной воды с мятой.

Он извинился, что не может заняться мной тотчас же, потому что должен занести в реестр данные о намолоченном зерне, но выразил уверенность, что я останусь у него обедать.

— А после обеда побеседуем, — пообещал он.

Потягивая ароматный напиток, я наблюдал за ним и старался угадать, сделали ли свое дело в душе его благодать господня и горечь утраты матери.

Притворенные ставни и закрытые окна немного приглушали шум молотьбы. Время от времени входил управляющий и клал на стол пропыленные листки, на которых карандашом были крупно выведены какие-то

цифры. Один раз коммендаторе обратился ко мне (я тем временем вытащил из кармана молитвенник). Улыбаясь, он поднял палец и сказал:

— В этом году провидение было к нам милостиво. С тех пор как эта ферма мне принадлежит, здесь еще ни разу не уродилось столько зерна. Управляющие других ферм мне докладывали, что там тоже полным-полны все закрома.

В душе я ликовал, а сам продолжал читать молитвенник, шевеля губами и часто вздыхая.

К заходу солнца управляющий доложил, что все зерно наконец обмолочено. Коммендаторе пошел наверх, в зернохранилище, и позвал меня с собой. Лестница пропахла соломой и пылью...

Отец-директор сел на край кровати. Мы с нетерпением ждали конца рассказа. Лицо его утратило прежнее печальное выражение, глаза светились. Он потер руки, потом сложил их на груди и продолжал:

— Несколько работников разравнивали зерно деревянными лопатами. Я думаю, в эти амбары, просторные, как площади, было ссыпано несколько сот центнеров пшеницы.

Фузано засуетился, забежал. Возможно, при виде этого изобилия он пришел в такое возбуждение, что инстинкт жадности, который после смерти матери, казался, угас, теперь снова взял верх.

— Не сгребайте в кучи! — орал он, бегая среди своих работников. — Не надо сгребать в кучи! Зерно еще влажное, может прорасти.

Он брал несколько зерен, клал их в рот, разжевывал.

Эта внезапная перемена настроения грозила если не вовсе разрушить построенные мною воздушные замки, то во всяком случае надолго отдалить свершение предначертаний судьбы. «Если мне не удастся справиться с его прежними страстями, то они, без всякого сомнения, погубят зародившегося незаметно для него самого, милостью божьей, homo novus*».

Я бросился за Фузано. Мое апостольское усердие пока еще не родило в мозгу моем убедительные доводы

* Нового человека (лат.).

и богоугодные увещания. Поэтому, догнав коммендатора и шагая рядом с ним, я чувствовал себя смущенным, как ребенок, который разучил стишок, чтобы декламировать его родителям, но в решающий момент никак не может произнести первую строку и стоит, залившись краской стыда, теребя край одежды, не в силах сказать слово. Напрасно я рылся в памяти, стараясь припомнить какой-нибудь отрывок из священного писания или из жития святых; я не мог разомкнуть губ.

Я плелся за ним со страдальческим выражением лица, будто нищий. Фузано останавливался поговорить то с одним, то с другим работником, потом шел дальше; а я неотступно следовал за ним и смотрел на него полными слез глазами.

Сколько времени мы бродили с ним по зернохранилищам, не знаю. Руки и лица наши почернели от пыли.

Пора было уходить, а я так и не открыл рта. Коммендаторе смотрел на меня и улыбался.

— Надо вам сказать, что вы сегодня не зря потратили время,— проговорил он и исчез в темноте.

*

Я уже с неделю не выходил вместе со всеми гулять во двор после ужина. Меня терзало одно тайное желание.

Когда мои собраты выходили из церкви после «Miserere» за грех чревоугодия (хотя где там было грешить за нашим скудным столом!), а отец-директор гасил свет, я молча пробирался за алтарь, вставал на колени и, раскинув руки в стороны, прикасался ладонями и лбом к ледяному мрамору. Я прижимался губами к ледяным камням алтаря и ждал, когда холод через руки проникнет в грудь, скует все тело — в наказание за тайное желание, искушавшее меня в течение всей недели, где бы я ни находился — в церкви, во дворе, в постели и даже в трапезной.

Я бредил морским купанием. Я представлял себе, как, немного поплавав, я лежу один на небольшом пляже, на теплом золотистом песке. С моря дует души-

стый ветерок, который приятно ласкает тело, осушает кожу. Я чувствовал, что очищаюсь.

Я мечтал: вот я спускаюсь утром на берег и долго брожу по сухому песку; когда я мысленно ложился погреться на солнце, разгоряченное тело мое изнывало от блаженства. Я бросался в воду, рвал на дне мелкие водоросли — они были очень сладкие, я их ел и становился от этого крепким и сильным. Я ел и маленьких серебристых рыбешек, сновавших вокруг меня: они таяли во рту.

Однажды я не мог заснуть всю ночь напролет. Мне казалось, что у меня горят все внутренности и что кожа на спине в ожогах. Я даже не мог лежать на спине. У меня было желание выбежать в огород и вывалиться голым в снег. Я лежал потный и задыхался. «Наверное, у меня повышенная температура и я брежу», — подумал я.

Утром я встал совершенно разбитый, измученный бессонницей; руки и ноги дрожали, как будто я поднялся после тяжелой болезни. Перед глазами плавали зеленые круги.

В церкви у меня подкашивались ноги, стоять на коленях было больно. Собратья при чтении Евангелия вставали, при поднесении — падали ниц, а я стоял, не двигаясь, уцепившись за пюпитр, чтобы не упасть. По мере того как время подходило к причастию, я чувствовал, что жар проходит, во рту становилось сухо и горько, как после очень высокой температуры.

Я смотрел на алтарь, чтобы не пропустить момент, когда надо будет встать для причастия. Я ждал, когда священник, держа в одной руке сверкающую дароносицу, а в другой — меж двух пальцев — облатку, повернется, тогда я встану со скамьи, к которой, казалось, я был пригвожден. Не помню, кто в этот день служил обедню — отец-директор или отец-наставник. Помню лишь, что, когда я упал на колени перед мраморной балюстрадой и священник старался разжать мне зубы, чтобы положить на язык облатку, по телу моему опять прокатилась непередаваемо приятная теплая волна. Я уже был не в новициате, я снова плавал, погрузившись в спокойную голубизну моря, и зо-

лотой песчаный пляж сверкал на солнце, слепя глаза.

«Господи, господи! — шептал я про себя. — Оказывается, это ты представал передо мной во всей своей благодати и щедрости, во всем великолепии твоих творений, а я гнал тебя прочь, как искусителя! Почему же раньше ты не сорвал с моих глаз пелену невежества?»

Если бы я обратился к отцу-наставнику или к своему исповеднику, они бы открыли мне истину. Ведь водоросли и рыбешки, которые я ел, солнце, берег, мое разгоряченное тело — все это был ты! Вот уже недели, как ты стучишься в дверь моей души, а я тебя прогоняю, принимая за дьявола.

Прийди и вселися в меня и наполни меня мудростью своею, дабы я мог следовать за добрым Пастырем».

С тех пор мне казалось, что я живу в какой-то полосе света, которая отгораживает меня от собратьев и приглушает суетный стук их деревянных башмаков. Я перестал страдать от холода. Все мои мысли были обращены к богу; более того, я не мог понять, как можно интересоваться чем-либо еще. Во время молчаливых «передышек» и на переменах я забирался куда-нибудь в угол зала и предавался созерцанию. По-видимому, это состояние духовного блаженства отражалось на моем лице, потому что собратья боялись ко мне подходить. В церкви во время службы я больше не открывал рта: ведь я теперь все время находился перед лицом господя, в соприкосновении с его благодатью. Будь на то разрешение наставников, я бы больше не вошел в трапезную и лежал все время на кровати.

«А что, если питаться одним телом господним?» — подумал я и пошел с этим вопросом к отцу-наставнику.

— Отлично. Через две недели на небесах будет одной душой больше, а в новициате — одной меньше, — шутливо ответил он, протягивая мне коробочку с витаминами.

— А я только того и хочу, отец мой! — восторженно воскликнул я. — Я даже в своем духовном дневни-

не написал: «*Cupio dissolvi et esse cum Christo*» *, — решительно добавил я.

— Идите вместе со всеми на репетицию хора! Отец-директор вас ждет. И пойте громче.

Но петь я не мог. Я так напряженно размышлял о боге, что у меня закружилась голова.

В тот вечер, чтобы выйти из церкви после размышления о «Приготовлении к смерти», мне понадобилось сделать большое усилие над собой. Я не хотел идти в трапезную, мне хотелось только одного: поклонить колена возле мраморной балюстрады, смотреть, как священник поднимается на алтарь, слышать, как слегка скрипит вставляемый в замок дарохранильницы позолоченный ключик, и питаться только телом господним.

Когда я вошел в трапезную, кто-то из собратьев, видя, что я по рассеянности остановился перед чужим прибором, ласково подтолкнул меня вперед.

Клирик, которому в тот вечер предстояло читать отрывок из жития святых, уже поднимался на небольшую кафедру, стоявшую рядом со столом наставников, когда я заметил, что Рубини и Збаффи пробираются по проходу между столами и встают на колени перед отцом-наставником для упражнения в смирении (так называли у нас публичное признание своей вины перед братией).

По знаку наставника Рубини раскрыл книжку, в которой содержалась формула покаяния. Я неожиданно поднялся и бросился на колени между Рубини и Збаффи. Рубини, волнуясь, признался, что в течение всего дня мечтал о горячей ванне. Отец-директор в наказание велел ему пять раз сотворить молитву.

Настала моя очередь. Я вырвал книжку из рук соседа и тихой скороговоркой прочел полагающуюся формулу. Дойдя до слов «особо виню себя», я неожиданно громким голосом отчеканил: «за то, что счел себя достойным приобщиться к телу господа нашего Иисуса Христа по многу раз в день».

Собратья перестали скрести ложками по дну ми-

* «Жажду раствориться и быть с Христом» (лат.).

сок; по-видимому, замерли на месте и служители — во всяком случае, я больше не слышал стука их деревянных башмаков.

— Будете повторять это покаяние семь вечеров подряд, — громко сказал отец-наставник и подал знак Збаффи, чтобы начинал он.

Калабриец Збаффи произносил букву «с» как «ш», поэтому с языка его сходили сплошные шипящие. Тогда он замедлил чтение и отчетливо произнес:

— Я виноват в том, что разбил... что нарушил...

— Что ты разбил? — прервал его отец-директор, резко подавшись вперед и покраснев.

Испугавшись, Збаффи, склонил набок голову, сел на пятки, посмотрел на отца-директора и прошептал:

— Я виноват в том, что нарушил тишину.

— Слава богу, — пробормотал отец-директор и, откинувшись на спинку стула, с облегчением прошептал:

— Tre pater, ave e gloria *.

*

В то холодное утро по знаку помощника отца-наставника с кроватей поднялись лишь десять клириков.

Слабый свет дортуара освещал необычную картину. Помощник отца-наставника повторил сигнал. Некоторые попробовали подняться, опираясь на локти, но тотчас снова откинулись на подушки.

— Отец-директор, отец-наставник! — кричал не своим голосом отец Ринальдо, кинувшись со всех ног к их комнатам. — Послушники не встают!

Застегивая на ходу рясы, в дортуар вошли отец-директор и отец-наставник.

— Что с вами, дети мои? — плаксивым голосом спросил отец-директор. — Стоило вам чуть-чуть замерзнуть и покашлять, как вы уже испугались? Вспомните младенца Христа, который пожелал родиться в холодном хлеву. Ну, ну, будьте умницами, пронесите эту жертву ради обращения России на путь истинной веры.

Говоря это, отец-директор ходил между кроватями и щупал у семинаристов лбы. Те, что встали, и я в их

* Слава отцу и сыну и святому духу (лат.).

числе, с недоумением смотрели на товарищей, которые бессмысленно поводили глазами и краем простыни утирали пот. Отец-наставник подошел к директору, что-то сказал ему на ухо, и они вышли. Я делал уборку в дортуаре, когда в комнату в сопровождении наставников вбежал врач.

— Прекрати подметать, балда! — раздраженно крикнул он. — Не поднимай пыль! Держи чемоданчик!

Он подошел к первой кровати, сунул в уши фонендоскоп и, улыбаясь испуганному послушнику, отбросил одеяло. Тот смутился. И лежал, плотно скрестив руки на груди, закрыв глаза. Ему было так стыдно, что он попытался натянуть на себя хотя бы простыню.

— Посмотрим, посмотрим... — говорил врач, насильно разнимая его руки, расстегивая пижаму, приподнимая шерстяную майку.

— Покажись-ка своим наставникам тоже! Дыши глубже, вот так. — И прикладывал трубку к груди. Майка была из пушистой шерсти, это была единственная хорошая вещь на нем.

— Хорошая у тебя майка, — бормотал доктор. — Родители, наверное, состоятельные. Кто тебе вбил в голову нелепую мысль ехать сюда учиться?

Доктор продемонстрировал наставникам тощий торс послушника, на котором можно было пересчитать все ребра, и его скелетообразные ноги. Те безмолвно, как тени, брели вслед за ним.

— Покажи язык! Раскрой шире рот!

Врач перешел к другой кровати, я последовал за ним с чемоданчиком. Он осмотрел еще пять человек, потом с раздражением бросил фонендоскоп на кровать и, заложив большие пальцы рук в кармашки жилета, повернулся к наставникам:

— Поздравляю вас, синьор директор, от души поздравляю!

Было совершенно очевидно, что доктор шутит, потому что он тут же отвернулся и сбросил одеяло со следующего послушника. Теперь он осматривал как бы машинально; движения его стали быстрыми и резкими. Казалось, он на лету определял, каким недугом

страдает очередной больной. Ему достаточно было посмотреть, как он выглядит. Время от времени слышалось приказание:

— Открой рот!

Так он переходил от кровати к кровати, раздосадованный и в то же время чем-то довольный.

Проходя мимо отца-наставника, который держал в руках корзиночку с американскими витаминами, он глянул на них, порывлся в корзиночке и повторил:

— Еще раз поздравляю!

— Скажите же наконец, что с ними? — спросил перепуганный отец-директор. Доктор обернулся и отпрянул, точно его ужалила змея.

— Они голодны. Полагаю, что они всего-навсего хотят есть! — прошипел он.

— Бросьте, доктор, сейчас не до шуток!

— Какие там шутки! Скажите-ка мне лучше, положив руку на сердце, сколько недель эти ребята не ели мяса?

Директор мямлил в руках пакетики с витаминами и лепетал:

— Говорите тише. Не надо, чтобы они слышали. Вы же знаете, как мы бедны.

— Бедны? — зарычал доктор. — А где окорока и колбасы от тех свиней, что вы зарезали в прошлом году и оставили на этот год? А где яйца, которые вы собрали во время сбора пожертвований? Вы их захоронили в подвале, залили известью в цементных урнах. Я понимаю, вы хотите растить священников на капусте, репе и картошке. Но чтобы вырасти здоровыми людьми, им необходимы мясо, молоко, сыр, хлеб и многое другое. Постарайтесь это усвоить! В противном случае ваши послушники долго не протянут. Господь по доброте своей приберет их к себе, и все ваши труды останутся втуне. Что же касается витаминов, можете их убрать! Это — для здоровых людей. А здесь эпидемия гриппа.

И вышел из дортуара. Наставники, опустив головы, последовали за ним. Я слышал, как они поспешно спускались с лестницы и хлопали дверьми.

Вскоре отец-наставник собрал всех, кто держался на ногах, в классной комнате и произнес краткую речь. Он сказал:

— Бог посылает нам эти испытания, дабы сделать нас еще более достойными его милости. Возрадуемся же, братья, что он обратил взор свой на наш новичиат. Обычное расписание отменяется вплоть до нового распоряжения. Молиться будете сами, когда сможете, потому что все вы будете ходить за больными собратьями, а это — святое дело милосердия. Вот какая на вас возлагается обязанность.

Одних послали на кухню помогать матушке-поварихе, других — пилить дрова и мыть уборные. Мне было велено оставаться в дортуаре — присматривать за больными и в случае надобности помогать им.

Отец-директор вынул из кармана свои часы и дал их мне, говоря:

— Возьми листок бумаги и пиши. Восемь ноль-ноль: святое причастие в дортуаре. Должны быть зажжены все лампы. В восемь тридцать: завтрак. Двое дежурных сходят на кухню за тарелками и принесут их сюда. Десять ноль-ноль: чашка бульона...

Когда я поднялся наверх в дортуар, больные неподвижно лежали на постелях, широко раскрыв глаза. В непроветренной комнате стоял тяжелый запах грязного белья и застоявшейся воды. Я останавливался возле кровати, поправляя одеяло, вытирал пот с лица больного, а тому, кому было особенно плохо, старался улыбнуться.

Рубини, которого мучили приступы непрерывного кашля, поманил меня пальцем и сказал:

— Братец, у вас голос сохранился, начните громко читать «Помилуй мя, господи», а мы мысленно будем вам вторить.

Медленно расхаживая по комнате, я громко читал псалом. По расписанию в десять часов — второй завтрак. Ровно в десять ноль-ноль вошли два послушника с большими подносами, на которых стояли миски с дымящимся бульоном.

Бульон был действительно вкусный: сверху плавали звездочки жира, а на дне миски шевелились кусоч-

ки моркови, петрушки и лука. Больные медленно пили бульон; казалось, он возвращал им силы.

В новициате воцарилась мрачная, угрюмая тишина. Снаружи не доносилось ни голосов, ни шума. Только черные вороны, описав большой круг в воздухе, садились иногда на карнизы и стучали клювами по оконным стеклам, после чего с карканьем улетали прочь.

Я открыл книжку и погрузился в чтение, забыв обо всем на свете.

Я собирался встать, выйти на середину комнаты и начать читать вслух, когда Рубини вдруг приподнялся на постели: его вырвало прямо на простыни. Я подбежал к нему, вытер ему полотенцем рот и стал подтирать тряпкой липкую желтую жижу, растекавшуюся по полу ручейками. Мне очень хотелось убежать во двор.

«Я сам в добром здравии и не выдерживаю жалоб больных товарищей! В чужом глазу вижу соломинку, а в своем не замечаю и бревна», — корил я себя и, пачкая руки и рясу, продолжал вытирать пол.

На следующее утро надо было причастить больных. Отец-директор взял из дарохранительницы дароносицу и накрыл ее белым покрывалом. Два послушника несли по зажженной свече, третий звонил в колокольчик, а я держал за спиной отца-директора раскрытый зонт.

В десять часов в дортуар вошли врач и отец-директор, который нес таз с кипятком; в тазу плавал большой шприц.

— Серафими! — позвал доктор. — Возьми спирт и вату. Намочи кусочек ваты в спирте, следуй за мной и хорошенько протирай место, которое я укажу.

Отец-наставник деликатно приподнял одеяло одного из послушников. Доктор взял шприц и, оголив тело больного, сказал мне:

— Протри здесь!

Бедро было костлявое, кожа желтая, как солома или как облачение для торжественных богослужений. Почувствовав острый запах мочи, доктор поморщился.

Из кухни теперь стали носить мясные блюда с

овощами, плававшими в масле. Я присаживался на край постели возле тяжелобольных, кормил их с ложки и, пока они прожевывали нищу, рассказывал любопытные случаи из жизни святых, которые я выписывал себе в тетрадь и заучивал наизусть.

Врач приходил два раза в день делать уколы и, по мере того как больные приобретали нормальный вид, становился веселее и оживленнее. Через пять дней он добрую половину больных поставил на ноги, температура у них упала. Он задорно хватал их по двое под руки и заставлял пробежаться по дортуару. Узнав, что больные поправляются, отец Веньеро тоже начал заглядывать в дортуар и шутил с ними так, словно они избежали смертельной опасности.

— Что-то ты бледный, Серафини! Сбегай-ка на кухню и скажи, чтобы тебе сделали хороший бутерброд с колбасой.

Я опустил голову.

— Скажи сестрице, чтобы она тебе дала той колбасы, которую она нарезала сегодня утром,— шептал мне отец-директор.

Я побежал на кухню, но там никого не было. Я громко позвал матушку-повариху, она откликнулась из подвала и велела спуститься к ней.

Подвал был огромный, величиной с зал для отдыха. Вместо пола — сухая утрамбованная земля. Директор, человек хозяйственный, распорядился, чтобы под мешки, которые громоздились вдоль стен и на которых крупными буквами было написано: «сахар», «макароны», «рис», были подложены крышки от ящиков. К балкам, подпиравшим потолок, были подвешены колбасы, окорока, сало.

Посреди подвала, как раз под лампочкой, были сложены консервы, полученные в подарок от американцев. И, наконец, на трех старых стульях стояло по бутылки. К горлышкам были прикреплены бирки: «Вино для мессы», «Вино для монахинь», «Вино для наставников».

Если бы не длинный ряд цементных урн, выстроившихся вдоль правой стены, я бы мог подумать, что вошел в магазин богатого бакалейщика довоенного

времени. Монахиня, с трудом удерживая равновесие, стояла на пустом ящике и обеими руками доставала из одной такой урны большие куски застывшей извести со множеством крупных яиц. Наполнив привязанную к поясу корзину, она спустилась с ящика и красными, перепачканными известью руками принялась отмывать яйца в тазике с теплой водой.

— Из-за этого безбожника доктора я скоро изведу все яйца,— ворчала она.— А как было в прежние годы? Что, вас не кормили, что ли? Во всем виновата война. Это она подорвала здоровье. Ведь вот ты же не заболел! А почему? Потому, что приехал упитанный. Те же, что приехали бледные, худые, заболели! Пусть этот безбожник не морочит мне голову, будто у нас пища непитательная.

Не переставая ворчать, она поднимала с земли куски извести, из которых яйца уже были вынуты, и швыряла их в угол. Напуганный ворчливым тоном монахини, я ушел, так и не попросив бутерброда, хотя был очень голоден.



В первые дни марта от бледного весеннего солнца начали оттаивать ставни, стоял и обледеневший снег во дворе. Больные наконец восстановили свои силы и окончательно поднялись с постелей. Во второй половине дня, когда солнечные лучи пригревали больше всего, мы медленно бродили вдоль опоясывающей дом цементной дорожки. Вороны покидали крыши строений и, плавно махая крыльями, с карканьем улетали в поле в поисках пропитания.

В саду выделили и огородили несколько квадратных метров земли под цветник (цветы были нужны для церкви). Каждый год в начале весны отец-директор выбирал кого-нибудь из послушников покрепче и назначал его садовником.

В тот год выбор пал на меня, и я все свободные часы посвящал вскапыванию клумб. Запах взрыхленной земли и вид насекомых и червей, которые, проснувшись от зимней спячки, ослепленные ярким све-

том, копошились в траве, приводили меня в состояние крайнего возбуждения. Приятная дрожь охватывала тело; мышцы, зимой казавшиеся мне застывшими, неподвижными, ожили.



В начале апреля 1948 года на классной доске, которой за весь год ни разу не пользовались, кто-то написал столбиком несколько слов на пьемонтском диалекте и перевод их на итальянский язык. Первым в списке безукоризненной английской прописью было выведено слово *segea* — привет. Далее следовало: *œvi* — яйца; *tomatichè* — помидоры; *madamin* — синьора, синьорина; *rom de terre* — картофель.

В течение недели мы каждое утро обнаруживали на доске пять новых пьемонтских слов с переводом.

Как-то вечером в середине месяца, во время разъяснения упражнений в совершенстве и христианских добродетелей Родригеса, в классную комнату вошел отец-директор. Одежда его была испачкана известью.

— Дети мои! Мы бедны, но господь никогда не обходит своими щедротами тех, кто преданно ему служит. Завтра вы начнете сбор яиц. Он продлится три дня: 15, 16 и 17. 18-го все останемся дома. В этот день мы должны будем поразмыслить о страшном суде.

Его широкое лицо осветилось блаженной улыбкой. Он перевел дух и, отряхивая сутану, продолжал:

— Вы отправитесь группами по три человека. В группу войдет один брат из Пьемонта, один из Венето и один из Рима. Крестьяне говорят только на диалекте, но я надеюсь, что вы за эти дни выучили слова, которые мы выписывали для вас на доске. Давайте проверим! Вот, например, ты, Рубини, если крестьянин скажет «*segea*», как ты ответишь? А если тебе, Бьянки, захотят подарить «*larin*», что ты скажешь? Как бы там ни было, предоставьте отвечать пьемонтцу. Каждая группа получит корзину на двести яиц. Если вы ее наполните уже на второй день, то домой не возвращайтесь и сбора не прекращайте.

Сложите яйца в ближайшей канонике, предварительно их пересчитав, и предупредите, что директор новициата за ними заедет. Бог помогает тому, кого он любит, и успешный исход сбора покажет, кто ему больше мил.

Меня включили в группу вместе с одним пьемонтцем аскетического склада, который только что поднялся после гриппа и был еще слаб; третьим был коренной парень из Рима со смуглой, веселой физиономией, в черных очках с толстыми стеклами. Он тоже несколько дней проболел, поэтому корзину предстояло нести мне.

Утром 15 апреля после завтрака мы по трое заходили в церковь, чтобы получить благословение отца-директора. После чего наша группа отправилась по берегу реки Пелличе в деревню, находившуюся в пяти километрах от новициата. В корзине, под соломой, лежал наш завтрак: коробка сардин в масле, небольшая плитка шоколада и три яблока.

Возвышавшиеся перед нами голубые Альпы были покрыты снегом. Дул ветерок, приносящий запах хлеба и дыма. Невысокая трава на лугах была темно-зеленого цвета, а через молодую листву деревьев еще просвечивали темные стволы и ветви. Медленно переходя с места на место, паслись на лугах белые волю. В поле виднелись молчаливые фигуры крестьян, мотыживших землю, и чуть поодаль — небольшие черные повозки с дымящимся навозом. Там и сям, возле темнеющих полос мяты, работали женщины: они пололи и сажали сорго. Мы не разговаривали. Время от времени вороны, пронзительно каркая, взмывали в небо, затем стремительно опускались на край дороги.

Мы подошли к реке Пелличе. Неглубокое русло ее было перекорежено весенним паводком. Воды Пелличе разливались по соседним полям, оставляя после себя тонкий слой серого песка. Сейчас вода спала; остался лишь небольшой ручей, который струился между песчаных бугров, натыкаясь в излучинах на кучи гальки и сплетенные в узел корневища.

Подойдя к первому дому, мы переглянулись. Перед нами возвышалась кирпичная ограда; за ней вид-

нелись крестьянский дом, крыши сараев и сеновалов. Во дворе стояла непролазная грязь.

На нас с лаем кинулись привязанные на цепь собаки. Игравшие на возах дети стремглав убежали домой.

— Слава Иисусу Христу! — крикнул я возле растворенной двери. Вышла женщина и, не говоря ни слова, повела меня в курятник. Там, сделав мне знак молчать, она поспешно положила в мою корзину дюжину крупных, еще теплых яиц. В этот момент к нам приблизился опиравшийся на две палки старичок, который сказал что-то женщине на уху.

— Ах, боже мой! Я бы без тебя, Саугин, не догадалась! — воскликнула она.

И, взяв меня за руку, сделала знак моим товарищам обождать. Я покраснел и попытался вырваться, но она меня не отпускала. Мы прошли через закопченную кухню и по узкой деревянной лестнице, распугивая кур и голубей, поднялись на второй этаж. Дом пропах острым запахом зерна и сорго. Я был очень сконфужен и молился про себя ангелу-хранителю, не имея понятия, что меня ждет, когда женщина толкнула какую-то дверь и мы вошли в огромную побеленную комнату, где на подушках, уложенных на небольшом деревянном помосте, лежал худой как скелет старик, издававший сипящие, хриплые звуки. Он не шелохнулся, никак не дал понять, что слышал наши шаги. Ставни были притворены; слабый свет освещал кукурузные початки и шесты, на которых были подвешены под потолком колбасы.

— Благословите его, отец! — умоляла меня женщина. Глаза ее покраснели. Заякаясь, я стал объяснять, что я, конечно, могу помолиться за исцеление больного, но что я еще не священник. Она упорно настаивала на своем. Меня же не покидала мысль о том, что нельзя терять времени, надо идти собирать яйца. И я никак не мог решиться сказать ей, что мое благословение было бы святотатством. В конце концов я все же сосредоточился в молитве, сложил руки крестом и на несколько секунд застыл в этой позе, полной отчаяния. Женщина упала на колени, бормоча:

— Совсем как папа римский...

Старик продолжал хрипеть. Женщина схватила шест, сняла один круг колбасы и отдала мне его со словами:

— Это вам. Посмотрите, какая хорошая, жирная колбаса. Будьте уверены — настоящая!

Мы все утро шли вдоль реки Пелличе и собрали на фермах несколько дюжин яиц. Когда пробило полдень, вместо того чтобы возвращаться в деревню Торре Пелличе, мы решили сделать привал на дороге и позавтракать. Пьемонтец считал, что самое подходящее место для привала — кладбище; римлянин же предлагал дойти до ближайшей церкви. Я сказал, что самое безопасное и спокойное место — это кладбище: туда никто не придет и не помешает. Собратья согласились. Мы уселись перед кладбищенской оградой на груде старых надгробных камней. Как положено набожным людям, мои товарищи прошли за ограду и бродя среди мраморных ангелов и фаянсовых фотографий, помолились за души усопших. Я тем временем вскрыл коробку с сардинами, нарезал хлеб и смастерил из веточек нечто вроде вилок. Неподалеку от фонтанчика струился по гладким камням небольшой ручеек, и от его журчания на душе у меня стало весело. Колбаса, подаренная мне крестьянкой, лежала рядом, на траве. Окажись сейчас рядом со мной наш доктор, он бы сказал: «А что, если ночью ты не сможешь уснуть от того, что у тебя пусто в желудке; кто же тогда пойдет завтра собирать яйца? Беато Серафини, разрежь эту колбасу и подели ее со своими собратьями».

Я схватил колбасу и разрезал ее на три части.

Вечером, возвращаясь домой, мы еле держались на ногах, зато в корзине лежало сто восемьдесят яиц. Отец-директор устроил нам радостную встречу и по-отечески прижал к груди.

— Молодцы ребята! На вас пал выбор providения!

На следующий день нам приказали держать путь на Кавур.

— Возможно, пешком вы не доберетесь; попросите подвезти вас на попутной телеге или на грузовике,— сказал отец-директор.

В этом районе много больших богатых ферм, и мы гадали, что там нам, любимцам providения, достанется. Не помню уж, как мы добрались до этих мест: на машине какого-нибудь благодетеля или на возке для скота. Но на шоссе перед въездом в Кавур мы прочли надпись, от которой у нас перехватило дыхание: «Всем лицам духовного звания сбор пожертвований запрещается».

На третий день, в субботу 17 апреля, было приказано далеко от дома не уходить: предполагалось, что мы обойдем хутора, разбросанные в окрестности, избегая заходить в те дома, в которых наши послушники уже побывали.

Мы исколесили всю округу. Ради экономии времени небольшие водоемы переходили вброд, но собрали всего несколько дюжин яиц. Пекло солнце; в своих толстых рясах мы обливались потом. Мы плелись по пыльной дороге молча, тяжело дыша, в некотором отдалении друг от друга.

Ноги невыносимо ныли. Время от времени я ловил устремленный на меня вопрошающий взгляд моих товарищей: вид полупустой корзины, которую я нес в руке, был для них немым укором.

В полдень, съев коробку сардин с кусочком черствого хлеба, мы немного уняли разыгравшийся аппетит, но во второй половине дня я почувствовал, что у меня сосет под ложечкой. «Если бы среди этих яиц было хоть одно битое, я бы мог съесть его, не согрешив»,— подумал я. Но яйца, как на зло, были гладкие и блестящие, будто из слоновой кости. Я, изображая крайнюю усталость, пробовал сразмаху ставить корзину на землю; яйца стукались друг о друга и оставались невредимыми.

Мы забрались в глубь полей, после весеннего паводка покрывшихся песком. Он забивался в ботинки, проникал сквозь носки и вызывал неприятный зуд. А что, если притвориться, будто я упал, и выпустить корзину из рук? Может быть, разобьется всего каких-

нибудь два-три яйца, не больше... От голода перед глазами плавали зеленые круги. Чтобы отстать от товарищей, я замедлил шаг и сделал вид, что поскользнулся, спускаясь с песчаного пригорка. Я закричал. Мои товарищи бросились со всех ног ко мне.

— Господи Иисусе, прости меня! — запричитал я. При этом я был вполне искренен, так как беда, которая стряслась с яйцами, намного превышала мои предположения. Я чуть не плакал.

— Господи Иисусе, прости! — вторили мои товарищи. Глаза их горели, но они старались держаться подальше от корзины.

— Прости, — повторял я, стоя на коленях. — Я сотворил беду, но я покаюсь.

Говоря это, я осторожно взял одно из разбитых яиц и, заливаясь слезами, высосал его.

Я почувствовал, как по моим внутренностям разливается сладкое блаженство, от которого туманило глаза.

— *Miserere mei Deus **, — доносилось до моего слуха. Это молились мои собратья. Их шепот, казалось, был наполнен какой-то необычайной безмятежной радостью. А я продолжал вынимать из корзины разбитые яйца и глотал их как одержимый.

— Братец, вы съели восемь яиц. Вы можете заболеть, — сказал пьемонтец.

Я ничего не ответил.

В субботу вечером, после того как яйца были отнесены в подвал, заложены в цементные урны и залиты известью, нас собрали в классной комнате. Наставники уже сидели там с мрачным видом.

— Завтра, дети мои, трудный день для нашей матери-родины, — сказал отец-директор. — Состоятся выборы в парламент, и нам надо как следует помолиться, чтобы не победили антихристы, чтобы они не устроили революцию. Как бы то ни было, *estote parati ***. Молитесь, чтобы в случае надобности ради спасения церкви господь бог дал вам силу пойти на мученичество.

* Помилуй мя, боже (лат.).

** Будьте наготове (лат.).

После этих слов воцарилась странная, неприятная тишина. Никто как следует не понял, что отец-директор имел в виду.

— Я не спрашиваю, готовы ли вы пойти на мученичество. Разве станет генерал спрашивать своих солдат, хотят ли они идти в атаку? Что же говорить о вас! Ведь вы христовы воители, избранники Христа. Повторяю: будьте наготове. Антихристы есть повсюду. Возможно, были они и среди тех, кто в эти дни подносил вам пожертвования. Зло рассеяно везде, *sicut leo circuens quem devoret* *. Не уподобляйтесь глупым девам, которых приход господа застал врасплох, с лампадой, не заправленной маслом. Кто знает, быть может, завтра всем нам суждено оказаться в раю.

В углу послышалось приглушенное рыдание.

Поднимаясь по лестнице в дортуар, я размышлял о страшных вещах, которые говорил нам директор. Антихристы... Собирая яйца, мы обошли всю округу, побывали за много километров от дома, но нам ни разу не попадался человек, который бы выглядел врагом церкви. Напротив, все, кого мы встречали по дороге, при нашем появлении снимали шляпы и почтительно кланялись. Впрочем, если судить по истории мексиканских мучеников, революционеры, возможно, прячутся в подвалах, там плетут свои заговоры, вооружаются. Или же, подобно гугенотам, засели в своих замках, высоко в горах, среди снегов...

Глядя в окно, я мысленно рисовал себе план, которым «гугеноты» могли воспользоваться для нападения на наш дом. Они, конечно, подойдут не со стороны селения, где вооруженные люди привлекли бы к себе внимание жителей. И не со стороны поля: им понадобилось бы слишком много времени, чтобы собраться всем вместе. Они приедут по железной дороге, притаившись в вагонах для скота. И так как новициат граничит с железнодорожным полотном, то, значит, оттуда они и ворвутся.

Мысль о том, чтобы принять муку от руки анти-

* Как лев, блуждающий в поисках, кого бы проглотить (лат.).

христа, меня не пугала. Чем мучиться всю жизнь, выполняя устав конгрегации, лучше принять муку сразу, чтобы перед тобой наверняка распахнулись врата рая.

А как они нас убьют? Вряд ли они нас повесят. Правда, деревьев во дворе много. Но при всей моей неосведомленности относительно того, как вешают человека, мне представлялось, что эта форма казни требует слишком много усилий и времени. Пока они будут возиться с виселицами, нам на помощь подоспеют истинные христиане (я внушил себе, что в округе есть масса людей-христиан, готовых ринуться в бой против «гугенотов»). Вернее всего, нас расстреляют: враги взломают входную дверь, ворвутся в дом и уложат нас на месте из автоматов, точно невинных агнцев.

Утром 18 апреля я надел чистую рубашку, отутюженные брюки, тщательно почистил одежду. У всех на лицах лежала печать серьезной, молчаливой грусти. Я же был занят лишь мыслью о том, как чьи-то жалостливые руки уложат мое мертвое тело в гроб, поэтому я хотел, чтобы моя одежда была по возможности в полном порядке. Во время обедни я причастился, как если бы отправлялся в последний путь.

На завтрак нам дали яичницу с хлебом и кофе. Столь необычное изобилие лишь подкрепило мое предположение о том, что это наш последний завтрак в жизни.

Гулянье во дворе в то воскресное утро длилось полчаса. Ярко светило солнце, но мне почему-то не хотелось принимать участие в играх. А мои товарищи, напротив, стали играть в кегли, в мяч и в игру, похожую на теннис. (Для этой игры пользуются ракетками и куском кукурузного початка, в который втыкаются три куриных пера, регулирующих полет.) От площадки, где играли в кегли, я шел смотреть игру в мяч. Но я ни на минуту не упускал из виду входную дверь и забор в глубине сада, откуда, по моим расчетам, должны были появиться «гугеноты». Подобно птицам, которые после долгого пребывания в клетке отвыкают летать, мои собратья, утомившись, один за

другим покинули площадку, только самые маленькие остались играть в мяч.

В поле и в селении царили тишина и спокойствие, доносился лишь гул проезжавших машин.

Мне нравилась мысль о том, чтобы умереть внезапно, в погожий солнечный день, как умер мой прадед Марко. Перенестись прямо в царство господне, из земной жизни в загробную без вынужденного интервала в виде болезни и агонии, не угасая, подобно костру, в который перестали подбрасывать топливо.

«Если мне суждено умереть,— размышлял я,— значит, мне следует привести в порядок все свое имущество и составить завещание, вернее, два завещания: в одном, адресованном нотариусу, распорядиться относительно своих вещей; а другое, духовное, оставить для руководителей конгрегации». Я поспешил в классную комнату, где многие мои товарищи что-то писали на больших листах бумаги, читали или молились.

«Как коротка жизнь,— подумал я, берясь за перо.— Еще вчера я думал, что сумею обратить на путь истинный больше душ, чем обратил святой Франциск Исаверий, а сегодня я в двух шагах от смерти. Провидению было угодно сделать из меня служителя церкви и устроить так, чтобы я отдал все отведенные ею на мою долю немногие годы жизни господу».

Составив оба завещания, я взял два желтых конверта, на первом написал «Семейному нотариусу», на втором — «Главе конгрегации» и положил оба конверта на видное место в свой ящик.

Прозвонил звонок к обеду, но наставники к столу не явились. Меня охватило величайшее смятение. Я озирался вокруг, стараясь понять по лицам своих собратьев, напуганы ли они тоже этим внезапным исчезновением. Мне показалось, что все были возбуждены и, хотя стояла тишина, с трудом сдерживались.

Мы нехотя ели суп, когда в трапезную вбежал взволнованный брат Элеутерио.

— Братья, куда ни глянь — везде карабинеры и солдаты!

Матушка-повариха, высунувшись до пояса из тамбура кухни, крикнула:

— Это солдаты папы римского!

Рубини вдруг вскочил и выпалил:

— У меня брат служит в дивизии альпийских стрелков. Дивизия Фриули, пятый батальон. Да здравствует король!

Брат Элеутерио обвел нас горящим взглядом.

— В казармах дежурят военные капелланы, а наши наставники пошли голосовать. Я тоже ходил. Чего только ни делал наш директор, чтобы вас тоже включили в списки избирателей! При всей его изобретательности ничего не вышло... И еще он поссорился с председателем избирательного участка из-за того, что монахини из Коттоленго помогли проголосовать одному старику. Пришли голосовать даже монахини-затворницы: опустили на лица черные покрывала и пришли!

Брат Элеутерио сел за стол, где обычно сидели наставники.

— Спокойствие, братья! Карабинеры смотрят за порядком,— заключил он.

Мне кусок не шел в горло, и я с волнением наблюдал, как брат Элеутерио, красный от волнения, уписывал обед за обе щеки.

К концу обеда вернулись наставники. У отца-директора было непроницаемое, измученное от усталости лицо; он нетвердо держался на ногах, ряса его была покрыта пылью. Он прошел прямо к столу и немного поел. Отец-наставник несколько раз пытался с ним заговорить, но отец-директор вместо ответа лишь сокрушенно качал головой.

Позднее я вышел во двор. Был час отдыха, но играть никому не хотелось. Мысль о «гугенотах» не покидала нас ни на минуту. Большая часть дня уже прошла; значит, опасность еще ближе. Небо окрасилось в бледно-розовый тон; верхушки тополей сгибались под порывами ветра.

Вдруг, кроме шума проходивших по шоссе машин, я различил какой-то неровный гул, похожий на отдаленный рокот моря. Кто-то пел, и звуки пения доносились все яснее и яснее, сопровождаемые стуком ко-

лес, топотом множества кованых сапог. Уже можно было различить отдельные голоса.

Братья, вставайте!
Товарищи, вперед!

— Идут «гугеноты», — сказал я и направился к ограде, как будто меня влекла туда какая-то неудержимая сила. По дороге я успел заметить нескольких убежавших послушников. Я тоже ускорил шаг. До меня донесся крик:

— Curnaiass, cûpeli tutil! *

Кто-то отчаянно дубасил кулаками по железной калитке.

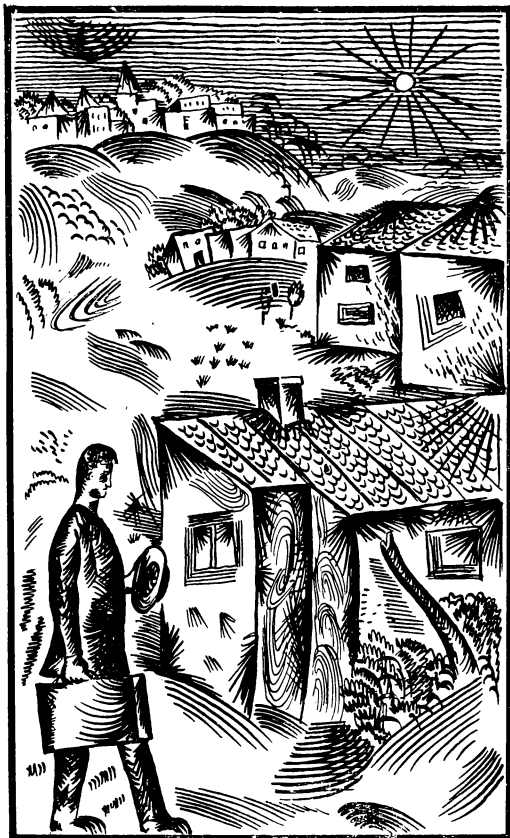
— Господи Иисусе Христе! — произнес я, падая на колени. Мне казалось, что сквозь грохот железа, звучавший как фанфары, я слышу не только крики истязателей, но и их частое, прерывистое дыхание:

Братья, вставайте!
Товарищи, вперед!
Ряды свои смыкайте...

Я остановился как вкопанный, с широко раскрытыми глазами.

Через дырочки в железной калитке мне на лицо и на руки брызгала какая-то теплая желтая жидкость, похожая на оливковое масло. От нее воняло хлебом.

* Прирезать их всех! (итал., местный диалект.).



Часть четвертая

Поначалу казалось, что это кричит сова.

— Кто здесь уполномоченный?

Сквозь сон я не понимал, что это значит, но я отчетливо слышал, что кто-то торопливо стучал по железу. Это отец Марио стучал ключом по изголовьям кроватей и, подходя к очередному послушнику, хриплым голосом выкрикивал в лицо спящему один и тот же вопрос.

Услышав лязг ключа над головой, я вскочил, а когда отец Марио назвал мое имя, застыл на месте, вытаращив глаза от удивления. Пот струился по моему лицу, горькая вязкая слюна сковывала язык, ноги ныли, как будто по ним долго колотили палкой.

— Я! — глухо откликнулся я.

Солнце уже встало; свет струился сквозь прикрытые ставни столбами золотистой пыли, которые делили комнату на несколько треугольников.

— Я уполномоченный! — раздался громкий сердитый голос откуда-то из угла дортуара; один из братьев поднял голову с подушки и сел на кровати.

— Но это не по-божески, я хочу спать. Отец Марио, пошлите в патронат кого-нибудь из тех, кто уже встал.

Это было утром в первый день пасхи. Многие уже поднялись, хотя отец-директор разрешил поставить будильник на восемь часов. Было велено выспаться как следует. Но изменить укоренившиеся привычки в несколько дней трудно. К тому же все были наэлектризованы по поводу предстоящей экскурсии в Азоло. Отец Марио подошел к «уполномоченному» и стал ему выговаривать:

— Вы не знаете элементарных основ церковной жизни. Отец-директор приказал, чтобы вы встали и тотчас спустились во двор.

Отец Марио вышел из дортуара, а «уполномоченный» побежал умываться, когда я, наконец, собрался с силами и сел на кровати. В голове моей все перепуталось. Мне показалось, что по ногам стекает на простыню вода. Я с отвращением ощущал себя.

«Я болен. Наверное, я еще болен,— испугался я.— Должно быть, у меня все еще не в порядке нервная система. Господи, помоги мне! Вечером перед сном мне нельзя пить». И я вытер мокрую руку о пижамные брюки.

В то утро я как раз должен был обновить рясу, только что сшитую портным схоластиката*. Мне казалось ужасным, что я притронусь к ней руками, пахнущими тем отвратительным запахом, который шел из-под одеяла.

«А может быть, это не от истощения нервной системы,— размышлял я.— Возможно, это от перемены погоды... Холодный душ приведет меня в чувство». И я медленно вылез из-под одеяла. Еле волоча ноги, обернув шею полотенцем, я поплелся через дортуар в умывальную комнату.

Из всех комнат и из нижних коридоров доносился скрип открываемых балконных дверей, слышались шаги монахинь и служителей, прибиравших помещение. Воздух был свеж, небо слегка затянуто облаками.

В умывальной были открыты окна; на меня пахнуло ветром. Сразу зазнобило.

Вокруг дома раскинулся виноградник, нежно зеленевший молодой листвой, появившейся всего несколько дней назад. Среди виноградников сверкало широкое высохшее каменистое русло реки Пьяве; на горизонте виднелись пока еще голые горы Граппа и Монтелло.

Тем временем во двор въехали два красных экскурсионных автобуса. Водители рассказывали по двору и курили.

* Схоластикат — курс схоластической философии, который послушники монашеских орденов проходят при колледжах или университетах после новичиата и который длится два-три года. Схоластикатом называется также дом, в котором они живут.

Я поспешно вошел в душевую.

Отец-директор распорядился, чтобы утром всегда была горячая вода и чтобы мы каждый день принимали душ. Это было не единственное новшество, ожидавшее нас в схоластикате, где жизнь наша должна была протекать совершенно иначе, чем в новициате. Новый директор не был похож на обычных священников — мы это поняли уже тогда, в сентябре, два года назад, как только приехали в Понте ди Пьяве.

*

У вокзала нас ждали клирики-схоластики второго и третьего курсов. У них были длинные волосы, красивые рясy; они громко смеялись и разговаривали между собой.

Впереди стоял невысокий, коренастый коротко остриженный священник с квадратным лицом и непреклонным взглядом. У него был решительный, боевой вид, как у военачальника в высоком звании. Такой взгляд, такие лаконичные жесты, такие большие умные руки вполне могли принадлежать генералу.

Долговязые, бледные как полотно, мы, по-видимому, произвели на него неблагоприятное впечатление.

Я понял это позднее, вспоминая, как испытующе он смотрел на нас. Я уверен, что он сразу заметил, какие мы длинные и узкогрудые, какой скверный у нас цвет лица, какие мутные глаза, гнилые зубы, опаленные веки. Однако в первый момент он, казалось, не придавал этому никакого значения. Он предоставил нам возможность устроиться в колледже, оглядеться и первые дни проходил мимо с таким рассеянным видом, как будто был занят совсем иными мыслями. Мне не верилось, что ему не хочется узнать нас поближе. Возможно, он подсматривал за нами из окна своего кабинета или ночью в приоткрытую дверь дортуара, чтобы удостовериться, что мы приспособляемся к новой жизни.

Но мы, новички, акклиматизировались плохо. В отличие от старожилы мы чувствовали себя не в своей тарелке. В новициате мы ходили мало, с тысячу предосторожностей, всегда потупившись. Поэто-

му, столкнувшись со здешними удивительными порядками, мы двигались подобно человеку, который только что встал после тяжелой болезни или у которого первый день как сняли гипс со сломанной ноги.

Нам было внове, что к столу здесь подавали вино, мясо, свежий хрустящий хлеб, много хороших спелых фруктов. Послушники с аппетитом поедали все, что им давали. А мы от такой обильной пищи вставали из-за стола ослотившиеся, страдали расстройством желудка, ходили со вздутыми животами, отяжелевшие. Пока все остальные с кошачьим проворством бежали по лестницам, мы медленно спускались во двор, становились возле ограды и, засунув руки в рукава, смотрели, как на спортплощадке возле огорода играют в баскетбол. Нам казалось, что, играя с таким азартом, какого нам не приходилось наблюдать, старшие клирики перебарщивают. Они бесцеремонно хватали друг друга за полы, носились как угорелые по площадке, кубарем катались по земле. Я поражался, откуда у них берутся силы так бегать, кричать и, не путаясь в рясе, так высоко подпрыгивать!

Когда звонил звонок, возвещавший конец перемены, они расходились с багровыми лицами и пятнами пота на спине.

Должен признаться, что эта неистовость меня напугала и в течение нескольких дней не на шутку тревожила.

Как-то раз отец-директор выбежал во двор, остановился около спортплощадки и захлопал в ладоши. (Получился такой звук, словно он ударил в медные тарелки.) Своими рысьими глазами он кое-что приметил через окно: собрат Перини ударил собрата Тантуччи кулаком в живот. Собрат Тантуччи, согнувшись в три погибели, поплелся к скамейке, а Перини, держа мяч под мышкой, бегал вокруг него и, жестикулируя, что-то объяснял.

— Так нельзя! — укорял Перини отец-директор. — Это нечестно. Идите помолитесь и попросите прощения!

Хотя это было сказано весьма решительным тоном, мне все же показалось, что отец-директор реагировал

на случившееся слишком мягко. На Тантуччи он просто не обратил внимания. Затем он подошел к нам и сухо распорядился:

— Встаньте в ряд, плечом к плечу.

Мы послушно выстроились.

Он стоял в середине шеренги и велел равняться по нему. Мы маршировали по двору из конца в конец до тех пор, пока не выдохлись. Отец-директор сказал, что это очень полезное упражнение, развивающее мускулы и тонизирующее мозг. Говоря откровенно, мне это было не совсем понятно, но я поддакивал. Может быть, мозг и тонизируется, но ноги подо мной подкашивались.

С тех пор отец-директор взял себе за правило приходить после обеда во двор. Старшие собратья молча продолжали играть, а мы принимались маршировать солдатским шагом из конца в конец двора.

Маршируя вместе с нами, директор громко объяснял, что религиозный дух проявляется вовсе не в том, чтобы быть нескладными, ходить склонив голову набок, с остановившимся взглядом и со слезами на глазах, словно под гнетом непоправимой беды.

— Вы находитесь в схоластике для того, чтобы совершенствовать свои знания и укреплять дух,— продолжал он.— Но выполнить эту задачу с таким мертвенным цветом лица было бы очень трудно. Чтобы преуспеть в учении, надо иметь здоровое тело: бодрое, эластичное, выносливое.— И продолжал гонять нас взад-вперед по всему двору.

— Стало быть,— твердым звонким голосом вещал он,— если утром вам трудно подняться, бегите в ванную и примите холодный душ — это вас подхлестнет. В здоровом теле здоровый дух, готовый служить господу. Пока не кончились каникулы, двигайтесь побольше, бегайте, прыгайте! Вы же молоды, вам так положено. От сидячего образа жизни застаивается кровь.

Собрат Розарио — послушник с темным ликом великомученика — в баскетбол не играл никогда, а в маршировке под руководством отца-директора участвовал всего несколько раз. В двух-трех метрах от ок-

ружавшей двор ограды тянулся двойной ряд лип, дававших густую прохладную тень. Собрат Розарио проводил все часы досуга один, в пропахшем сыростью и заросшем зеленоватым мхом коридоре между оградой и деревьями, занимаясь точкой ножей разных форм и размеров. У него была целая коллекция режущих инструментов, которыми он с поразительной ловкостью пользовался для разных надобностей.

Его карманы и ящик стола в классной комнате были битком набиты маленькими перочинными ножичками и сверкающими складными ножами. Он припрятал даже отслужившие свой срок штыки, которые подобрал в поле у реки, терпеливейшим образом очистил от ржавчины и наточил как бритвы. У него был большой точильный камень, хранившийся в деревянном футляре, и бутылочка машинного масла. Закончив точить свои ножи, он подбегал к двери кухни и спрашивал:

— Матушка-повариха, не надо ли что поточить?

И если она находила ему работу, он, обрадованный, наметанным глазом осматривал нож, усаживался на корточки возле ограды и шаркал по точильному камню до тех пор, пока лезвия не резали как бритва. Для проверки он размашисто и ловко, как фокусник, рассекал листок бумаги. Собрат Розарио на старой двери склада нарисовал мелом какую-то странную фигуру. Он говорил, что это дьявол, что он его ненавидит и непременно заколет. Стоило отцу-директору отвернуться, как Розарио начинал метать в белую фигуру свои остро отточенные ножи, стараясь попасть в голову. И попадал с потрясающей точностью.

— Вот тебе, проклятый искушитель, подлец, каналья! — приговаривал он.

Каждый день после обеда мы совершали долгие прогулки по зеленым берегам Пьяве и тополевым рощам. Река в некоторых местах высохла; неглубокое русло ее было покрыто белой галькой и мелким легким песком цвета меда. Мало-помалу наши лица утратили бледность, движения стали менее скованными; короче говоря, мы чувствовали, что к нам возвращаются силы.

Теперь мы не ходили так часто в церковь, как в новициате. Мы не брали в руки четки с утренней мессы и размышления до ужина. Я испытывал от этого смешанное чувство смятения и радости. Потом всех вновь прибывших принял отец-духовник. Многие ему жаловались, что их отрывают от долгих созерцаний у алтаря. Этот пожилой священник, обладавший большим терпением и милосердием, был жизнерадостным человеком. По-видимому, эти жалобы не были для него неожиданностью, потому что он прервал их на полуслове и весело заявил:

— Чему вас учили в новициате? Только нюхать ладан или учиться такой важной добродетели, как сострадание? В священном писании сказано: «*In interiori hominis habitat veritas*» *. Не уподобляйтесь фарисеям, ищите истину, и, может быть, вы ее обрящете в себе же. Я сказал «может быть», ибо не у всех она настолько сильна, чтобы обнаружиться без труда. Мы с вами увидимся через несколько дней, когда начнутся занятия.

По-видимому, он не высоко ставил духовную подготовку, которую мы получили в новициате.

Когда нам роздали книги (все они были потрепаны, шиты-перешиты толстым шпагатом, склеены мучным клеем, который шелушился чешуйками на корешках), отец-директор вошел в классную комнату и заявил, что отныне лучшей молитвой для нас будет учение.

— На этом я свою вступительную речь по случаю начала учебного года заканчиваю,— быстро заключил он.— На доске написано расписание уроков. Спишите его. Спойте «*Veni Creator Spiritus*» **, и чтобы ровно в девять все были в аудиториях!

Судя по зданию, учебное заведение было богатое, но этого отнюдь нельзя было сказать, глядя на учебное оборудование. Книги были старые, потрепанные, наглядные пособия, расставленные на полках в кабинете химии и физики, имели вид жалкий и убогий. Од-

* «Истина обитает внутри человека» (лат.).

** «Прииди, создатель духа» (лат.).

ни вовсе вышли из строя, другие были кое-как починены прилежными учениками.

Шкафы общей библиотеки на три четверти пустовали, и, если нужна была какая-нибудь книга, приходилось ждать ее по нескольку дней. Библиотека для наставников, по-видимому, была укомплектована лучше, но нам туда заходить не полагалось.

В первые дни октября отец-директор, пренебрегая учебным расписанием, посылал нас каждый день работать на виноградники к местным фермерам, собирать урожай. При этом нам советовали есть виноград до отвала, но, учитывая данный нами обет бедности, отказываться от всякого денежного вознаграждения.

Виноградники тянулись вокруг нашего схоластиката на многие километры.

Крестьяне опасались дождей и поэтому торопились со сбором урожая. Непрерывным потоком подъезжали грузовые машины с прицепами и автоцистерны, которые увозили виноград и сусло в Эмилию, Ломбардию, Пьемонт.

По утрам в приемной толпились управляющие или сами хозяева виноградников, приходившие просить отца-директора дать им побольше помощников.

— Я сегодня буду снимать мускат, молодым людям этот виноград наверняка понравится,— уверял один.

— А у меня целый участок ароматнейшего мерло-та! — хвастался другой.

— Господа, господа! — увещевал их отец-директор. — Сейчас послушники должны отправляться на занятия. Я постараюсь выполнить вашу просьбу, но попозже. Однако в первую очередь мы обслужим наших благодетелей, а уж потом — друзей. Спокойнее, спокойнее, не так громко! Ведь мы с вами не в кафе, а в божьем доме!

Виноград свисал с веток свежий, умытый росой. Как вкусно было его есть тут же возле куста, под багряными листьями!

— Ешьте, ешьте, молодые люди,— говорила какая-нибудь старушка, видя, что мы заполонили весь виноградник,— а я пока приготовлю корзины и ножи.

Фермер, у которого мы работали, отсылал поденщик подальше, а нас ставил на самые лучшие ряды.

На поля и на багряную листву виноградников опускался закат, русло реки Пьяве розовело, под горами ложились синие тени, темнели, мрачнели леса.

После работы на винограднике было трудно собраться с мыслями, переключиться на учение. Перед глазами все время стояли сверкающие дали, пламенили огненно-красные лучи.

Я с трудом заставлял себя открывать учебники итальянского языка, латыни, греческого.

Языки мне надоели, не знаю почему, они вызывали у меня какое-то непонятное отвращение. После годичной подготовки к монашеству у меня появились новые интересы. От старых привычных занятий меня отвлекало и то, что я начал изучать схоластическую философию, силлогизмы. (Я делал пока лишь первые шаги в изучении этого трудного предмета — осваивал логику Фомы Аквинского.) А впрочем, возможно, что причину столь резкого изменения моих вкусов надо было искать в самом преподавателе словесности, который очень увлекался поэтами-мистиками, вкладывал в преподавание всю душу.

Отец Джованни был священник со строгим лицом, с неизменной печатью грусти на челе. Причину этой грусти я понял лишь позднее. А поначалу я не мог разобрать — то ли он не доволен ходом занятий, тем, что книги, полученные школой в дар от благодетелей, потрепаны и устарели и он вынужден сам читать пространные лекции; то ли угнетен тем, что из-за перегрузки не находит времени сосредоточиться на своих мыслях, предаться созерцанию.

В неделю после поминания усопших он без конца читал проповеди по соседним деревням. Его очень ценили и звали по любому случаю. Он садился на велосипед еще засветло, а возвращался глубокой ночью. Это его очень утомляло. На рассвете он уже был на ногах и отправлялся в исповедальню. Сейчас у меня уже не осталось сомнений относительно того, в каком душевном состоянии он находился, исповедуя. Он от этого жестоко страдал. Я видел его мучениче-

ское лицо, отсутствующий взгляд. Когда я выходил из исповедальни, сердце мое разрывалось от непонятной жалости к нему и от стыда за себя, особенно если он отпускал мне грехи и накладывал легкую епитимью с улыбкой, по которой, как мне казалось, можно было угадать, чего ему стоило это милосердие и прощение.

Мне казалось, что его улыбка говорила: «Тебе не удалось стать лучше и на сей раз...»

Отец Джованни был единственный из всех наставников, который во время перерыва никогда не спустился во двор и не ходил с нами на прогулку.

Когда сбор винограда кончился и пшеничные поля были вспаханы, погода изменилась: целыми днями стоял сплошной густой туман. Отныне мы выходили погулять только два раза в неделю, на берег реки Пьяве, набухшей от дождей. Мы молча брели мимо заболоченных берегов и голых деревьев.

Хотя нам приходилось заниматься по девяти часов в день, за первые три месяца учебного года никто ни разу не болел, чему мы были обязаны заботам отца-директора, который не спускал с нас глаз даже когда мы спали.

За два дня до рождества окончился триместр, и отец-директор пришел, чтобы объявить отметки.

Назвав мою фамилию, отец Джованни так пристально на меня посмотрел, что я испугался. Отец-директор сказал:

— Собрат Беато Серафини, выньте руки из карманов, поднимите голову и откройте глаза!

Я еще ни разу не слышал, чтобы он разговаривал таким скрипучим и неприятным голосом.

— Не возгордитесь,—продолжал он так же сурово,— ибо господь, быть может, обратил на вас свой взор. Вот ваши отметки.

И он начал читать, делая для ясности паузу между названием предмета и баллом. Я слышал, как за спиной у меня перешептывались ребята. Я снова закрыл глаза, лицо мое пылало. Казалось, цифры метали искры и голос отца-директора не мог их затупить.

— Не возгордитесь, собрат,— повторил он (я все еще не решался поднять глаза),— ибо ни к чему хорошие отметки, если ученик не идет по стезе, начертанной господом. Иначе говоря, пусть лучше священник будет невежественным, но благочестивым, нежели ученым, но грешным. Вспомните жизнь и деяния святого кюре из Ара.

«Спасибо тебе, господи, за твою доброту и дай мне силы побороть гордыню»,— твердил я про себя.

Не знаю, как я дотерпел эту сладкую муку. Когда мы пришли в трапезную ужинать, то выяснилось, что даже монахини в курсе дела. Матушка-настоятельница, подглядывавшая из кухни в приоткрытую дверь, подозвала меня к себе и набросилась:

— Беато, ты за собой не смотришь, я тебя за это накажу! Больше не буду за тебя молиться. Ежедневно в четыре часа тебе надо принимать рыбий жир и выпивать сырое яйцо. Сколько у тебя маек? Боже мой, ни о чем-то ты, кроме как о книгах, не думаешь. Все еще ходишь в легких башмаках!

И она в порыве чувств теребила меня, заглядывала в рукава, щупала, надета ли на мне теплая майка. Я был смущен и думал о том, что такое повышенное внимание к моей особе отнюдь не укрепит мой дух и не поможет прогнать гордыню.

Рождество я провел в состоянии приятного оцепенения. Я получил несколько скромных и ненужных подарков. Мне преподнесли замечательный презепий*, тайно изготовленный несколькими собратями из моего класса. Он изображал красивый зимний пейзаж: озеро, по которому плавают гуси, утки и лебеди; горы, покрытые снегом — вид на Альпы из Вигоне (автор хорошо запомнил эту панораму). Если бы не пальмы, можно было подумать, что сцена изображает уголок Пьемонта.

Единственная «зимняя» игра, которую терпел отец-директор, были шахматы. Может быть, терпел потому, что никто ими особенно не увлекался. Когда на дворе шел снег, из одного из шкафов дортуара вытаскивали

* Презепий — макет, изображающий библейскую сцену.

обшарпанную шахматную доску и обгрызанные фигуры. Толком объяснить сложные правила никто не мог. Надо было посмотреть, каким убийственным взглядом награждал отец-директор тех, кто во время перемены, вместо того чтобы выйти на двор и заниматься гимнастикой, сидел над шахматной доской, стараясь разобратся в ходах. Чаще всего шахматной доской владел Тантини — ярый приверженец этой игры. Он играл в одиночку, уверяя, что с помощью шахмат обратит к богу немало человеческих душ. А раз так, то он решился во что бы то ни стало сделаться чемпионом и не расставался с шахматной доской. Он даже откопал в библиотеке латинскую книжонку с правилами шахматной игры и носил ее в кармане как молитвенник. Нередко, проходя мимо него, можно было услышать бормотание:

— Ante regem ne move pedem, ante reginam move pedinam... *

Играть с ним никто не хотел, поэтому он играл один, пометая в специальной тетрадке сделанные ходы.

Вот он сидит перед шахматной доской и своими длинными белыми костлявыми пальцами передвигает фигуры то за одного, то за другого игрока. Он весь захвачен игрой, блестящие глаза впились в доску. Мы проходили мимо — Тантини нас не замечал. Мы хотели спросить, чья берет, но боялись: вдруг обидится. Видя, что собраты липнут к нему, как мухи на мед, отец-директор прогонял нас за ворота — подышать свежим воздухом.

— Оставьте его в покое, уходите отсюда, да поскорее! Боритесь с ленью, она притупляет мозги.

Мы возвращались с прогулки запыхавшиеся, потные, шумливые, с покрасневшими на морозе лицами и отличным аппетитом. Наставники встречали нас усталые и охрипшие после долгих часов, проведенных в исповедальне. Особенно утомленным казался отец Джованни. На нем было пальто, поверх пальто — накидка,

* Перед королем ставь пешку, перед королевой ходи пешкой (лат.).

на ногах — грубые башмаки, лицо до самых глаз закутано шарфом. Ему приходилось просиживать в холодной исповедальне по многу часов.

Как-то вечером, к концу каникул, у меня заболело горло, появилась хрипота. Я никому ничего не сказал. За ужином ел мало, без аппетита.

Ночью мне заложило грудь, стало трудно дышать и снились страшные сны. На следующее утро я не смог подняться, стонал, горло горело огнем. Два собрата чуть не на руках доставили меня в изолятор. У меня был сильный жар. Пришел доктор, сказал, что надо быть очень осторожным, и назначил лечение. Он распорядился, чтобы я лежал один и чтобы никто меня не беспокоил. Я несколько не испугался, хотя болел впервые. За многие годы мне еще ни разу не представлялось возможности помолчать.

За окном утро незаметно переходило в день, день — в вечер. Когда в стеклах отражалась первая звезда, я слышал отдаленные голоса братьев во дворе, однообразные удары колокола нашей церкви и звон колоколов в соседней деревне, к которому я до этого никогда не прислушивался.

Отец Джованни навещал меня каждый вечер. Он появлялся в проеме двери, закутанный в свои черные одежды. Первое время от его посещений мне было как-то не по себе. Отец Джованни являлся обычно прямо из приходской церкви, куда ходил исповедовать. По мере того как он отогревался, от его одежды все больше пахло воском и ладаном.

— Ну как дела, как вы себя чувствуете? — спрашивал он.

Я отвечал, что мне легче, что я, по-видимому, поправляюсь. Сколько дней, как я лежу? Я уклонялся от прямого ответа и ссылался на доктора, который тоже считал, что дело идет на поправку.

— Лучше скажите мне, отец, как вы себя чувствуете?

Он поводил плечами и мотал головой, как будто стряхивая с себя капли дождя или хлопья снега, и едва приметно улыбался. От этой его улыбки мне становилось хорошо. Он сидел возле моей кровати и вместе

со мной смотрел, как за окном опускалась ночь, прислушивался к отдаленным голосам, молился и молча меня исповедовал. Он знал обо мне все, включая мои мысли. Поэтому перечислять ему мои грехи было бы лишь формальностью. Он понял причину терзавшего меня стыда и мог угадать, как безмерно я мучался от угрызений совести.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, отец!

*

За два дня до моей болезни собрат Пиччини, который вместе с пьемонтцем Надзаро ходил со мной собирать пожертвования в Вигоне, отозвал меня в сторону и сказал:

— Брат мой, я должен сделать вам одно признание. Несколько месяцев тому назад ваше поведение меня покорило. Сейчас я изменил свое мнение. Вы помните, как на второй день сбора яиц вы выронили корзину, разбилось восемь яиц и вы их потом съели? Тогда я решил, что вы жадный и невоздержанный человек. А сейчас я понимаю, что вам попросту необходимо было утолить голод. Ваши успехи в ученье свидетельствуют о том, что вы труженик на ниве божьей. Простите меня, брат мой!

Сказав это, он смутился и убежал в зал, где стояло пианино.

Я отлично помнил, что Пиччини поступил в новициат круглолицым и краснощеким, как яблоко, а к приезду в Понте ди Пьяве пожелтел, как увядший лист. Причиной тому были вынужденное затворничество, плохое питание и неподвижный образ жизни. Однако здесь, в Понте ди Пьяве, ему не пошли на пользу ни сбор винограда, ни обильная пища. Казалось, его тело стало непроницаемым, как резина, организм не впитывал питательные вещества, не реагировал на благотворное влияние чистого воздуха. Во время игры в баскетбол на его лице появлялся болезненный румянец, кровь прилиwała к щекам. Он тяжело дышал и прижимал руку к груди, как будто у него там что-то

давило. Случайно обнаружилось, что по вечерам у него поднимается температура и что ему больно кашлять. Директор имел с ним долгую беседу. Пиччини, нехотя отвечая на расспросы, был вынужден признать, что болен, после чего ему велели ночевать в изоляторе. Вставал он немного позднее, чем все остальные, и ужинал в кровати. Чтобы не будить меня по ночам своим надрывным кашлем, он накрывал голову подушкой или одеялом. Я с вечера долго не мог заснуть, лежал с открытыми глазами, глядя на замаскированную лампаду, едва освещавшую комнату, слышал его приглушенный кашель, видел, как он беспокойно ворочается с боку на бок.

Я привык проводить первую часть ночи полусидя на кровати, опершись о две подушки и прикрыв плечи черной шерстяной шалью, которую мне принесли для тепла. И все-таки мне было холодно. Печка грела плохо. Она громко гудела и мгновенно пожирала свой рацион поленьев. Как только переставали подбрасывать дрова, она гасла. Утром окна покрывались причудливыми ледяными узорами, поэтому свет, проникавший в комнату, был молочно-белый, рассеянный, как за стеклом аквариума.

Сейчас я уже не помню, какие мысли, страхи и размышления меня одолевали в дни и ночи, проведенные в изоляторе. Время тянулось бесконечно — однообразное, неподвижное и усталое, как заводь, в которой, подобно небу, отражалась машинально произносимая каждый час молитва. Не радовало и особое питание: все казалось пресным, безвкусным. А предполагалось, что больные должны находиться в привилегированных условиях.

Я не могу вспомнить даже сердитое лицо доктора. Не осталось у меня и неприятного воспоминания о каком-нибудь физическом страдании или особенно невкусном лекарстве. Четко запомнилось только смутное ощущение тоски, которая охватывала меня во время долгих часов одиночества и которая была вызвана, по-видимому, сознанием, что я оказался в стороне от жизни конгрегации и должен стойчески вынести все, что уготовит мне провидение.

Обычно ночь коротка, она длится всего несколько минут — ровно столько, сколько надо для того, чтобы заснуть и проснуться. Но какой она может быть долгой, если фантазия наполняет ее призраками, видениями и приглушенными звуками: вот залилась злобным лаем собака, протарахтела и скрылась где-то в ночи крестьянская телега, а здесь, рядом, кашляет мой молчаливый сосед.

Однажды ночью подушка, под которую он прятал голову, шлепнулась на пол. Я увидел, что он содрогнулся и, свесив голову через край кровати, закашлялся; в горле у него что-то заклокотало... Я зажег свет и вскочил. Это была кровь: на постели, на полу... Губы его тоже были в крови. В широко раскрытых, полных слез глазах застыл ужас.

Я позвонил, прибежали наставники. Срочно вызвали врача. Он застал его задыхающимся, обессиленным. Лежа у себя на постели, я украдкой наблюдал за помрачневшими лицами наставников, особенно за доктором, который делал все, что мог, не щадя сил. Он долго сидел возле больного и ушел лишь, когда за окном забрезжил рассвет.

Я запомнил все, что видел тогда сквозь полудрему, запомнил страшные пятна крови на простынях и на полу. Как ни плохо я разбирался в болезнях, я понимал, что с Пиччини стряслась большая беда. Я ворочался с боку на бок, то и дело поглядывая в его сторону. Он судорожно ловил ртом воздух, и я боялся, что у него опять начнется приступ кашля и хлынет горлом кровь.

На следующее утро доктор долго и тщательно меня осматривал, задавал непонятные вопросы, на которые я отвечал как во сне: плел какие-то глупости или просто говорил неправду. Без злого умысла, разумеется: просто я боялся, что болен той же болезнью, что и Пиччини, и цепенел при одной мысли о кровохарканье. Это был страх перед страданием, перед неизведанной болью; я боялся, что у меня вытечет вся кровь и я постепенно превращусь в скелет.

Позднее, когда мы остались одни, Пиччини сказал: — Вот увидите, они отправят меня в больницу.

Я старался, как мог, его утешить, хотя у самого на душе кошки скребли. Мне было даже трудно молиться. «Все равно судьба моя решена,— думал я,— остается только ждать, когда наступит роковой день».

— Мне страшно, страшно... Не быть мне священником,— говорил Пиччини.— У меня чахотка.

И, обессиленный, затихал, устремив неподвижный взгляд в потолок.

С того дня я стал его сиделкой. Я читал ему книги, но он, по-видимому, не слушал.

— У меня чахотка,— твердил он.— А кому нужен чахоточный священник? Господь прогоняет меня из конгрегации как какого-нибудь презренного грешника.

Потом его охватывало раскаяние.

— Господи, прости меня за то, что я усомнился в справедливости твоих предначертаний!

Он, задыхаясь, откидывался на подушку и начинал плакать. Я стоял и со страхом смотрел, как он всхлипывает. Потом он вдруг приподнимался, и кровь, фонтаном хлынув из горла, заливала простыни.

Мы понимали, что нас полностью изолировали, так как считали опасными заразными больными. Врач приходил ежедневно; он задавал вопросы, но не мог заставить себя сделать веселое лицо, пошутить. Он проносил долгие непонятные речи относительно затяжного характера болезни, как будто хотел нас образумить. Толковал о еде, о температуре и предписывал Пиччини полный покой. Что касается меня, то он говорил, что, как только пригреет солнце, я должен, потеплее одевшись, совершать долгие прогулки по снегу, быть побольше на воздухе, дышать глубже.

Как он сказал, так и было. Наступило утро, когда мне пришлось оставить своего больного собрата одного. Я был так слаб, что еле держался на ногах. Но перед уходом я все же нашел в себе силы сказать ему, что, пройдя через испытание, он будет священником-героем и бог его вознаградит, как Иова. Надо только не терять веры, и провидение обо всем позаботится. Больше я его никогда не видел.

Суровая зима, казалось, не хотела уходить. По заснеженным сверкающим полям гулял северный ветер.

Мне нельзя было выходить на улицу. Надо было менять климат. Доктор сказал что для восстановления здоровья мне необходимо пожить в мягком климате, на несколько месяцев прервать учение и забыть о книгах. В конгрегации обо мне позаботились. Из курии пришло письмо-приказ. Отец-директор вызвал меня и, протягивая лист бумаги, смиренно произнес:

— Прочтите, брат мой, это письмо и скажите, согласны ли вы подчиниться приказу.

Глава ордена в нескольких словах предлагал мне отправиться в колледж на озере Гарда, как только я буду в состоянии передвигаться.

— *Fiat voluntas tua, Domine* *,— проговорил я, вставая на колени.

— Завтра утром? — спросил отец-директор.

— Что ж, поеду завтра утром,— согласился я.

*

Когда появилась темно-голубая гладь озера, кондуктор прокричал: «Рива!» — и я, с трудом волоча свой багаж, бросился к выходу. Было тепло, безветренно. Дома стояли темные, в мокрых подтеках.

Меня встречал слугитель. Он взял мой багаж и повел в колледж.

Шагая рядом с ним, я думал о товарищах, оставшихся в Понте ди Пьяве, о Пиччини, вспоминал поля, простиравшиеся вдоль берегов Пьяве, синие горы. Ноги после долгой ходьбы ослабели и ныли. Среди голубоватых гор блеснуло озеро; оно то появлялось, то исчезало за домами и рыбацкими баркасами.

А вот и колледж. Открывается калитка, под ногами хрустит гравий; вокруг зеленеют деревья. Воздух сладкий, как фруктовый напиток. Подойдя к главному входу, возле которого росли два больших лимонных дерева, я с трудом удержался, чтобы не сорвать лимон.

На лестницу я поднялся с трудом. Комната была затенена плотными шторами, стены оклеены темными обоями — это было приятно для глаз. В углу, подобно

* Да будет воля твоя, господи (лат.).

сверкающему трофею, возвышалась большая кафельная печь. Вдоль стен стояли лимонные кусты в горшках и выстроенные в ряд креслица.

— Добро пожаловать, дон Беато Серафини,— раздался за моей спиной громкий голос.— Нам как раз нужен помощник.

Священник остановился возле меня и протянул мне руку, но я не пожал ее, а, встав на колени, поцеловал.

— Пойдемте сразу завтракать! Ваш автобус прибыл с опозданием...

Я последовал за ним.

Мой новый директор был высокий сухопарый человек со смуглым лицом и темными колючими глазами. В его хорошо подстриженных волосах виднелась совсем небольшая тонзура. Шелковая ряса поблескивала под бледными лучами светившего через окно солнца.

Мы сели за стол. Налив мне тарелку супа, он сделал вид, будто рассеянно озирается по сторонам, но я чувствовал, что он ко мне приглядывается. Я буквально валился с ног от слабости и не был в состоянии контролировать каждое свое движение. Кроме того, я был очень голоден.

— Нет, нет, дорогой брат мой! Не следует втягивать суп с таким шумом,— мягко заметил священник.— И ложку надо держать изящнее. Видите ли, в нашем колледже учатся дети состоятельных родителей, кроме того, к нам в гости часто ездят весьма почтенные люди. Очень важно уметь держать себя за столом. Все это, разумеется, мелочи, но мы обязаны быть примером во всех отношениях.

Мне было так совестно, что я смутился до слез.

— Советую вам ничему не удивляться,— продолжал он,— ни изысканной обстановке, ни цветам, которые вы видите повсюду. Здесь, вдоль берега озера, много богатых колледжей, которыми руководят миряне, и мы должны бороться с ними их же оружием, то есть тонким обхождением, респектабельностью и размахом. Должен сказать, что нам, наставникам, здесь гораздо труднее, чем детям: хорошая жизнь изнеживает. Поэтому надо быть всегда начеку и втайне от

постороннего взгляда быть ежечасно готовым к умерщвлению плоти. Конечно, трудно пройти под дождем и не намочнуть. Смотрите же, чтобы вас не замочило! Впрочем, если вас сюда прислали, значит, вы сумеете повести себя соответствующим образом. А фрукты надо есть с помощью ножа и вилки.

Эти столь необычные для меня слова, произнесенные вполне миролюбивым тоном, но с оттенком разочарования, поразили меня. Поглядывая на священника, я, как мне показалось, заметил, что на губах его все время играла обидная для меня снисходительная улыбка. У него были холеные руки барина с закругленными блестящими ногтями. Из рукавов его рясы выглядывали манжеты такой ослепительной белизны, что я, устыдившись своих, спрятал руки под стол. Есть мне расхотелось.

— Я уверен, что вы быстро освоите все эти чисто внешние правила хорошего тона, необходимые в вашем новом положении,— уверенно заключил он, стараясь придать своему голосу оттенок сердечности, и позволил.

— Я скажу, чтобы вас проводили в вашу комнату,— сказал он, вставая. Явившемуся на звонок собрату он отдал несколько распоряжений, касающихся моего устройства, и, махнув мне на прощанье рукой, удалился.

Меня поместили на самом верхнем этаже в большой неуютной комнате с побеленными стенами. Как выяснилось, здесь была когда-то спальня прислуги, обслуживавшей виллу. Кровать была отгорожена белой занавеской, потому что в той же комнате спал садовник.

Включившись в жизнь колледжа, я быстро свыкся с новыми правилами и обычаями и, ничему не удивляясь, выполнял свои обязанности воспитателя. И все же я не мог не отметить про себя, как сильно моя жизнь теперь отличалась от той, которую я вел раньше. Само собой разумеется, мне поручили будить собратов, которые спали в дортуарах вместе с учениками. На рассвете я спускался вниз и, шагая по тротиковой дорожке, прислушивался к многоголосому гомону: это молились монахини. Белые портьеры, кото-

рые висели по обе стороны коридора и на которых голубыми нитками было вышито слово «затворницы», были приподняты. Из-за приоткрытых дверей пахло глаженным крахмальным бельем.

Каменные ступени лестницы, которая вела на бельэтаж, так блестели, что, казалось, были покрыты стеклом. К бархатным перилам было боязно прикоснуться. Потолок был разрисован золотыми веточками и полосками.

В коридор бельэтажа выходили четыре двери. В императорской комнате (позднее я узнал, что вилла принадлежала раньше австрийскому императорскому дому) на кровати под балдахином спал директор.

Еще одна лестница — и я в саду. Свет, струящийся с запада, приподнял небо; звезды поблекли. Вокруг нависших темно-синих гор парят облака; озеро покрыто рябью, напоминающей кору дерева. Домов, выстроившихся в ряд, почти не видно.

*

Уже в первых числах марта началась весна — зацвели цветы, распустились листья. Не знаю почему — может быть, благодаря особой заботе директора о моем здоровье — по утрам я был всегда свободен и проводил много времени на берегу озера.

Между villой и озером простирался огромный парк, в котором росли каштаны, кедры и липы. Опустив одну руку в воду, я в каком-то забытии смотрел на голубой простор и свободной рукой приветствовал медленно проплывавшие лодки.

Озеро сетью каналов и прудов проникало и к нам в парк. Иногда я бродил вдоль берега, забирался в гущу деревьев. Густая свежая листва отбрасывала на дорожки зеленоватую тень. Тишина была наполнена шорохами, всплесками. Пели птицы.

Отец-директор жил обособленно, общаясь лишь с обитателями соседних вилл. У него тоже бывали гости: я не раз видел, как он разгуливал с господами и дамами по аллеям парка или сидел с ними в беседке,

куда официанты в полосатых сиреневых пиджаках носили им прохладительные напитки в больших цветных бокалах.

С тем же импозантным видом, с каким он принимал своих богатых друзей, он служил обедню, принимал облатку, поднимал чашу, воздевал к небу глаза. Когда, омыв и вытерев пальцы вышитым полотняным полотенцем, он бросал его на алтарь, в жесте его чувствовалось легкое презрение. В такие минуты, слушая, как он произносит слова освящения даров, я не мог отделаться от ощущения, что он играет; в модуляциях его голоса, в паузах между отдельными словами — мне стыдно, но я должен в этом признаться — была наигранная экзальтация, которая ранила мне душу. Когда он широкими, торжественными взмахами руки благословлял присутствующих, он это делал, как актер, то есть без внутренней убежденности в том, насколько это важно. Я не сомневался, что это именно так, и не считал свое мнение о директоре оскорбительным для него. Я силился убедить себя, что богу можно служить и так тоже, хотя этот способ разительно отличался от того, что мне доводилось видеть раньше.

Я вспоминал отца Джованни, его строгое лицо и искреннюю, непоказную простоту, его ночные визиты во время моей болезни. Здешний отец-директор, напротив, полностью предоставил меня самому себе и не интересовался моими занятиями с детьми. Он не контролировал меня, не следил ни за моим досугом, ни за молитвами, не интересовался, как я сплю, как я себя чувствую, словно я всю жизнь прожил под этой крышей, вырос здесь, как одно из деревьев в саду. Схоластикат Понте ди Пьяве, казалось, остался на другом краю земли.

К середине июня в колледже остались только ученики лицейского курса, которым предстояло готовиться к государственным экзаменам. Я чувствовал себя вполне здоровым и полным сил, поэтому мне было поручено следить за ними в долгие часы занятий. Сняв пиджаки, они сидели в большом зале с окнами на озеро за отдельными столами, чтобы не мешать друг

другу. Было жарко, пекло солнце. Несмотря на ветер, вокруг синих гор парили легкие облака.

Все в колледже настроились на отдых и на отъезд, хотя никакого распоряжения еще не было. Директор в своей длинной черной шелковой рясе, обмахиваясь маленьким бумажным веером, торопливо проходил по саду.

В зале он появлялся лишь для того, чтобы поздороваться. Избавившись, таким образом, от забот, он уединялся в своих покоях или подолгу сидел в садовой беседке и читал.

Это были самые длинные дни в году.

Как-то в воскресенье после обеда, с разрешения заведующего учебной частью, мы отправились на озеро кататься на лодке. (В колледже была собственная лодка.) Дул ветерок, и можно было отъехать подальше. Озеро было спокойное, вода отливала разными цветами, на берегах белели деревушки, с восточной стороны зеленел лес. Четверо ребят сели на весла и принялись грести.

— Можно было захватить удочки; жалко, что мы не догадались, — сказал один.

Второй добавил:

— Надо бы купить что-нибудь поесть. Если мы прокатаемся до вечера, то наверняка проголодаемся.

Поэтому решили заехать в Риву, купить там все, что нужно, а потом продолжить путь вдоль берега по направлению к Торболе. Я просил ребят долго не задерживаться. И незачем отправляться всем, достаточно трех или четырех, остальные пусть подождут в лодке, предложил я. Но они не послушались и весело со мной попрощались, сказав:

— Мы мигом слетаем туда и обратно!

По правде говоря, мне ничего от них не было нужно. Я делал для них лишь то, что входило в мои обязанности. Но это были дети богатых родителей и, по видимому, у них было принято в знак любви и благодарности к преподавателю оказывать ему вещественные знаки внимания. Когда они вылезали из лодки, мне показалось, что они о чем-то договорились или во всяком случае весело и многозначительно перегля-

нулись. Прогулка и возможность попасть в Риву были, конечно, удобным случаем для выполнения их замысла.

В ту пору мне очень хотелось иметь книгу, о которой у нас в Понте ди Пьяве много говорили: «Житие святой Терезы». По мнению отца Джованни, я был слишком молод, чтобы понять и оценить ее по достоинству. «Еще успеется, прочитаете», — говорил он. А мне казалось, что больше нельзя откладывать, что я должен прочесть ее.

Очнувшись от мыслей, я не мог сообразить, сколько прошло времени. Должно быть, много, а ребят все не было. Беспокойство мое переросло в мучительную тревогу, когда рядом со мной бесшумно остановился большой черный автомобиль. Из него стремительно вышли отец-директор и главный врач местной больницы (меня с ним как-то познакомили).

— Вы не добрый пастырь, а продажный наймит! Вместо того чтобы быть готовым отдать жизнь за своих агнцев, вы спокойно взираете на то, как волк расправляется со стадом! — резко бросил мне отец-директор; лоб его избороздили злые морщины.

Я очнулся, как от толчка в бок. Меня охватил смутный страх. Передо мной стоял директор. Казалось, он стал еще выше ростом, словно приподнялся на цыпочки. Вырвав из моих рук веревку от лодки, он приказал:

— Садитесь в машину!

Тем временем врач позвал полицейского и что-то объяснял ему вполголоса. Усевшись, вернее забившись в угол автомобиля, я закрыл глаза. Мне хотелось одного: плакать. «За что он назвал меня продажным наймитом? — спрашивал я себя. — Только потому, что я позволил ученикам пойти купить еду? Поезжайте же, сеньор доктор! Едемте искать этих заблудших агнцев», — мысленно умолял я.

Но доктор почему-то не трогался с места. Он натянул перчатки и, не произнося ни слова, сидел за рулем. Рядом со мной клокотал от злости директор. Я мысленно представлял себе его разъяренный взгляд. Я попробовал глянуть на него украдкой: он сидел с

невозмутимым видом, положив руки на колени, и смотрел в конец людной улицы.

Ученики возвращались гурьбой. Они шли по направлению к нам, глядя в землю и якобы ничего не замечая. Дойдя до машины, они все же смутились.

Директор медленно опустил стекло.

— Садитесь в лодку, — распорядился он. — Я жду вас дома. Там отчитаетесь.

Машина отъехала.

— Идите к себе в комнату и молитесь! — сказал мне директор, когда мы приехали домой. — И не выходите до тех пор, пока я вас не позову.

Удрученный случившимся, я поплелся наверх и заперся у себя в комнате. Положение было угрожающее и непонятное. Я ломал голову, что могло произойти, и в сумятице противоречивых мыслей пытался найти хоть одну, которая с мало-мальским правдоподобием объяснила бы мне, чем могли провиниться мои подопечные.

Директор бросил мне как оскорбление: «Вы не добрый пастырь, а продажный наймит!»! Но что я продавал или чем я торговал?

У меня было, наверное, очень расстроенное лицо, когда ко мне в комнату вошел отец Корнелио. Я бросился ему навстречу и, заливаясь слезами, спросил:

— За что он назвал меня продажным наймитом?

Не знаю, сжалился он надо мной или нет, но он ответил:

— Брат мой, призовите на помощь святой дух, он даст вам силы уразуметь. Что касается этих мерзавцев, то я с ними разделаюсь сам. А сейчас идите вниз. Вас ждет директор.

Я стремглав бросился вниз по лестнице.

Директор сидел за письменным столом, склонившись над какими-то бумагами. Он не удостоил меня даже взглядом и заговорил, не отрывая глаз от лежавших перед ним листков. В его голосе уже не было прежней злобы, но сколько он вложил в свои слова яда и презрения!

— Надо быть таким наивным человеком, как вы, чтобы дать себя обвести вокруг пальца мальчишкам, —

сказал он. — Вы только представьте себе, что бы было, если бы эта история дошла до их семей! Иными словами, до ушей их отцов и матерей. Хоть закрывай колледж! Теперь, чтобы этот прискорбный факт не получил огласки, я вынужден его замолчать, притвориться, будто не знаю всей правды.

У меня не хватало смелости спросить, какой именно факт не должен получить огласки.

Тоном, в котором вдруг зазвучало искреннее огорчение, директор сказал:

— Почему на такую трудную работу, как у нас, посылают зеленую молодежь? Здесь надо иметь сан священника, иметь за плечами житейский опыт, а у вас нет ни того, ни другого. Ну хорошо, это — колледж для привилегированных. Но разве привилегированные — не часть паствы господней? Да и что, собственно, они от нас требуют? Чтобы их детям были созданы здесь те же удобства и чтобы они имели такое же деликатное обращение, как дома. Они хотят, чтобы священник ходил в шелковой рясе. Они в восторге от того, что я сплю под балдахином. На этом основании они охотно доверяют мне своих сыновей и открывают передо мной двери своих домов...

Директор встал, подошел к огромной кровати с балдахином, стоявшей в глубине комнаты, погладил одну из резных деревянных колонок.

— А сейчас идите, — сказал он примирительно, — и молитесь, молитесь, чтобы господь дал вам разум. Пока ничего другого вам не остается.



Предстояла экскурсия в Азоло.

Около фонтана в саду стояли два больших красных автобуса, покрытых мельчайшими каплями воды. Служители уже несли из кухни корзины с завтраком. Мы рассаживались по местам. Неприятный запах, который преследовал меня с утра, не проходил. Я сел на заднее сиденье и опустил стекло, чтобы проветрить автобус. Когда мы тронулись, я с наслаждением стал вдыхать свежий воздух.

Вокруг благоухала весна. Рядом с цветущими яблонями и черешнями бледно зеленели колосья пшеницы; длинные ряды виноградных кустов отливали голубым. Между светло-зелеными липами мелькали белые дома. Широкими прозрачными струями текла река Пьяве.

— Красиво, а? — спросил кто-то рядом.

Собрата, который сел возле меня, звали Армандо. Я знал его давно, но обратил на него внимание только во время одного праздника в Монтеккьо Маджоре, когда он, облачившись в самую ветхую рясу, играл в спектакле роль основателя нашей конгрегации. У Армандо был красивый голос и бледный вдохновенный лик святого. На сцене он чувствовал себя свободно. В его игре была искренность, трогавшая зрителей. Кто-то потом уверял, что он как две капли воды похож на божьего угодника Леонардо Муриальдо. Армандо умел играть на рояле и получил разрешение читать все стихи, какие имелись в библиотеке.

В то утро, когда мы ехали на экскурсию в Азоло, он держал в руках латинские поэмы Пасколи.

Я сказал, что он молодчина, если может читать без словаря латинские стихи. Армандо горячо подхватил:

— О, латынь Пасколи так великолепна и проста, что не понять ее невозможно. Неужели вы предпочитаете язык святого Фомы, Пьера Ломбардо или святого Пьера Дамиани?

И он уставился на меня своими живыми глазами, слегка откинув голову назад.

— Латынь Пасколи полна гармонии, так же как его ощущение природы, пейзажа, как понимание детской души. Только он сумел придать латыни подлинную красоту. Папа Лев XIII тоже писал на латинском языке, но, хотя он и стремился подражать Горацию, стиль его получился сухим, жестким, бездушным. Пасколи в гораздо большей степени христианин, чем папа Лев XIII.

Услышав такое, я потерял дар речи. Слова Армандо прозвучали еретически, но он рассуждал так уверенно, а я чувствовал себя таким профаном в светской литературе, что даже не пробовал возражать. К тому же меня смущала мысль о том, что все-таки

он сыграл в спектакле роль божьего угодника, основателя ордена.

Наши два красных автобуса мчались друг за другом мимо цветущих полей и садов, то появляясь, то исчезая на поворотах. На улицах было многолюдно. Празднично одетые крестьяне стояли на порогах своих домов. Время от времени нам навстречу попадались набитые до отказа коляски и автомобили, длинные вереницы велосипедов. Фасады домов выглядели свежими, умытыми. В окнах алела герань. До Азола было рукой подать.

Мы поднялись на холм возле Рокки и остановились на площадке у кладбища, похожего на большой сад. Казалось, надгробия служили лишь для того, чтобы делить его на отдельные газоны или клумбы. Памятники, стоявшие в тени кедров и кипарисов, были окружены зарослями самшита. Люди спокойно бродили по дорожкам, как будто пришли посмотреть диковинный ботанический сад.

Армандо, взяв меня под руку, потащил показывать надгробия с английскими, армянскими, французскими надписями.

— Идемте, я покажу вам одну знаменитую могилу! — И указал пальцем на большую мраморную плиту. На ней было написано: «Элеонора Дузе».

— Это была великая драматическая актриса, — сказал он вполголоса. — Она жила с поэтом Д'Аннунцио и вдохновила его на великолепные стихи.

— Но откуда вы все это знаете, брат мой? — внезапно испугавшись, поинтересовался я.

— От отца Джованни, — объяснил мне Армандо, кивнув в его сторону.

Отец Джованни сидел на низкой каменной ограде и любовался равниной. Лицо его разгладилось, побледнело. Стало быть, между этим наставником и братом Армандо существует союз, происходит свободный обмен мыслями о серьезных материях и о посторонних предметах, о которых может судить лишь он один... «Ну что ж, это правильно, — рассуждал я. — Каждому свое, соответственно характеру и наклонностям. Армандо, разумеется, гораздо тверже меня, его решение

стать священником незыблемо, как скала. Значит, он вправе читать Пасколи и так уверенно рассуждать о многих совершенно неведомых мне вещах». И тут в моей памяти молнией мелькнула фраза, сказанная священником-аристократом из Ривы, после того как во время катанья на лодке сбежали мои ученики: «Надо быть таким наивным, как вы... Почему посылают такую зеленую молодежь!»

Предпочтение, оказываемое наставником моему брату Армандо, вызвало во мне несвойственное для меня чувство зависти. «Нет,— сказал я себе,— нет; каждому свое, у каждого свой характер».

Однако день для меня был испорчен. В голове роились десятки вопросов, на которые я не находил ответа. Заговорить с кем-нибудь об этом я тоже не решался, и с Армандо меньше, чем с кем бы то ни было. Его улыбка, его безоблачное спокойствие меня обезоруживали.

Через неделю после поездки в Азоло, возвращаясь домой после прогулки, которую мы обычно совершали вдоль берегов Пьяве, мы увидели на железнодорожной насыпи отца Джованни и рядом с ним Армандо, который сменил рясу на костюм и держал в руке фибровый чемодан. Заметив нас, он весело помахал нам рукой и продолжал разговаривать с отцом Джованни.

До возвращения домой никто больше не произнес ни слова. Отец-директор, увидевший нас в окно, позвонил, чтобы мы поднялись в классную комнату.

— *Gaudeamus in Domino* *,— произнес он, стоя за кафедрой и скрестив руки на груди,— ибо, дорогие мои собратья, вместо ученого, но не слишком благочестивого священнослужителя в миру стало больше одним христианином, который сможет оказывать неоценимую помощь священникам, несущим слово божие образованным людям. Бывший собрат наш, ныне покинувший конгрегацию, никогда не проявлял особой склонности к духовной жизни, так что наставники всегда рассматривали его пребывание среди нас как временное. Мы,

* Да возрадуемся во имя господне (лат.).

разумеется, предприняли все, что было в наших силах, дабы он вкусил целительного воздействия божьей благодати, но он предпочел питаться наукой смертных людей.

Директор осенил себя крестным знаменем и прочитал молитву.

*

Вечером того дня, когда от нас уехал Армандо, я не находил себе места.

Отец-директор назвал его в нашем присутствии «временным послушником», «неудавшимся священником», причем в тоне его не прозвучало ни презрения, ни обиды. Он дал нам понять, что наставники, которые знали, читали мысли Армандо, всегда рассматривали его пребывание в лоне церкви как временное, хотя Армандо никогда не вел себя вызывающе, не согрешил ни словом, ни поступком. И тем не менее, мысленно возвращаясь к случившемуся, воскрешая в памяти его коленипоклоненную фигуру у алтаря, его вдохновенный взгляд — точно такой, какой я наблюдал у него в то утро во время поездки в Азоло, когда он размышлял о стихах Пасколи, о Вергилии и о многом другом, я думал: «Но ведь это же святотатство так притворяться! Святотатство, которому нет прощения!»

Близился вечер; грозовое небо, еще изборожденное прямыми лучами света, темнело. Мне казалось, что в наступившей беззвездной тьме кружат огромные летучие мыши.

Вдали лаяли, перекликаясь, две собаки, и в бессмысленной злобе этого лая мне чудилась скрытая угроза.

Ужинал я нехотя, ел мало. Потом мне очень захотелось повидать отца Джованни и я поднялся к нему в комнату. За дверью слышалась музыка. Я громко постучал и, услышав «войдите», повернул ручку двери. Прикрыв за собой дверь, я остановился у порога.

Пластинка была старая, заигранная. Я не знал, что исполняется, и не сказал ни слова. Отец Джованни сидел в кресле и смотрел на меня; лицо его было умиротворенно спокойным. Мне так много хотелось сказать

ему, что я не знал, с чего начать. Я понимал, что некоторые вещи, о которых я хотел говорить, были просто нелепыми; другие я никак не мог сформулировать. Мысли спутались в клубок, и стоило к ним прикоснуться, как они запутывались еще больше.

Когда пластинка кончилась, отец Джованни спросил:

— Что говорят братья об отъезде Армандо?

Я ответил, что никто на эту тему не разговаривает, но тут же поспешил задать вопрос:

— Однако как может случиться, что призвание стать священником приходит и уходит?

На лице отца Джованни отразилось крайнее удивление.

— Как может случиться? — переспросил он.

— Да, — настаивал я, — как это можно установить?

— Это уже другой вопрос. Можно потерять призвание потому, что послушник недостаточно занимался самоусовершенствованием, а возможно, сам господь бог внушает ему эту мысль. Что же касается того, как это происходит, то могу сказать одно: это всегда происходит слишком поздно. Как правило, посторонние люди раньше обнаруживают, что человек недостоин избранной стези.

Я смотрел на отца Джованни с тревогой.

— Случай с Армандо не типичен, — продолжал он. — Армандо знал, как, впрочем, знали и мы, что он доживает среди нас последние дни. Он признался в этом откровенно, не обольщая себя напрасными надеждами, и, как ни было глубоко его сожаление, он был счастлив, что принял решение. Гораздо более достойно быть таким, нежели хитро увиливать от расспросов наставников, тянуть, мучиться понапрасну, проливать ненужные слезы. Я столько насмотрелся подобных комедий! Кроме того, нигде не сказано, что у такого человека призвание проходит бесследно. Подчас это лишь временный кризис, преодолев который, заблудшая овца возвращается в стадо более послушной, более умудренной опытом, чем до своего заблуждения. Тогда мы радуемся, как в известной притче. Но конечно, не спускаем с нее глаз. Такая овца может отбиться от стада снова. Что касается Армандо, то он поступил честно,

и в конце концов для нас это важнее всего. Мы этого человека никогда не потеряем.

*

Когда я вошел в комнату отца-директора, он пересчитывал толстую пачку ассигнаций, аккуратно разложив на столе красивые яркие бумажки по кучкам, а монеты — столбиком.

— Дорогой мой, подойдите сюда! — позвал он. — Ну вот, я из-за вас сбился. Придется пересчитывать все сначала.

Он улыбался, быстрым движением пальцев листал банковские билеты, мурлыча, считал их про себя, время от времени громко произносил «пятьдесят», «сто» и снова продолжал мурлыкать. Он клал на место пересчитанную пачку, брал следующую. Маленьким карандашиком помечал сумму на лежавшем рядом листке бумаги.

— Итак, дорогой философ, вы надумали меня навестить! — сказал он, берясь за следующую пачку.

Теперь он шептал, и шепот со свистом прорывался сквозь зубы. На лице его было написано: «Сегодня удачный день. Если вам понадобилась новая ряса, башмаки, свитер, я вам ни в чем не откажу».

— Ваше преподобие, — обратился я к нему, — я плохо себя чувствую.

— Как? — переспросил он, притворяясь, что не слышал моих слов. — Имейте терпение, сын мой; если вы меня будете перебивать, мы просидим здесь до ночи.

Пересчитав деньги, записав цифры на листке, он спросил:

— Так что вы мне хотели сказать?

— Вот уже несколько дней меня мучит ужасная мигрень, — объяснил я.

Он стал переписывать цифры столбиком.

— Мигрень? Но это так естественно в вашем возрасте. Вы слишком много занимаетесь.

Переписав все цифры, он тщательно их проверил.

— Я занимаюсь, но мне это стоит большого труда и в голове ничего не остается. Стоит мне сделать над

собой малейшее усилие, как начинается головокружение.

— Головокружение? — повторил он с отсутствующим видом. — Ах ты боже мой, если вы будете разговаривать и мешать мне считать, я никогда не закончу!

Цифры были вписаны в колонку неправильно, и он никак не мог найти, где десятки, где сотни, где тысячи, а где десятки тысяч. Я умолк, наблюдая, как отец-директор бьется над трудной задачей. Уткнувшись в листок так, что я видел лишь его затылок, он бормотал:

— Головокружение. Не удивительно. Вы же упрямый. Пишем девять, восемь в уме. Пометим, чтобы не забыть: восемь. Учение у вас превратилось в манию. Весной надо быть очень осторожными. Юноша подобен растению, которое тянется вверх, расцветает, но нуждается в удобрении и поливке. Вы все в этом году какие-то вялые.

И снова принялся считать. На сей раз он взял стопку монет и стал сбрасывать по пять штук из одной руки в другую. Пересчитав стопку, он клал ее на место.

— Свежий воздух, солнце, движение, — сказал он, занося в список еще одну цифру.

— Я молюсь, чтобы господь дал мне силы.

— Господь, господь! Как только что-нибудь не ладится, вы сразу же обращаетесь к господу. Но надо же пытаться и самому что-то делать!

Он продолжал пересчитывать монеты и пометать сумму на листке. Я решил подождать до тех пор, пока он не кончит. Наконец, еще раз проверив свои подсчеты, он отложил карандаш, издал громкий вздох облегчения и откинулся на спинку стула.

— Я пытался, — твердо сказал я.

— Вы пытались. Вы, молодежь, не знаете, как вести себя. Вот и страдаете мигренями.

— У меня еще бывают тошноты, — добавил я.

— Хорошо. Вызовем врача, он вас обследует.

— Спасибо, ваше преподобие. Но по-моему, врач мне не нужен. Я устал, в голове полная неразбериха. Наверное, мне просто надо немного отдохнуть.

— Здоровый образ жизни, свежий воздух — вот что вам нужно! — отчеканил он. — Конгрегации не нужны

золотые головы на глиняных ногах. Вы должны это усвоить. Мыслимо ли при вашем порывистом характере ходить с опущенной головой? В году триста шестьдесят пять дней. Положим по километру на день. Человеку надо проделать пешком столько километров, сколько дней в году. Отдохните недели две и соберитесь с мыслями. Я найду вам легкую работу, похожую на развлечение, но вы должны меня слушаться. Слава господу нашему Иисусу Христу.

— Во веки веков,— заключил я и вышел из комнаты.

От слабости у меня подкашивались ноги, и я с трудом поднялся по лестнице. На следующий день мне выдали поношенную рясу и послали работать в огород.



Последние два лета были засушливыми, и овощи гибли от нехватки влаги. Отец-директор обнаружил на чердаке ржавые трубы от старого центрального отопления и решил использовать их для оросительной установки. Воду предполагалось брать из большого канала, который, перед тем как впадать в Пьяве, опоясывал три четверти сада.

Два служителя прорыли для этих труб длинные каналы, настолько прямые, что участок стал походить на большой чертеж из геометрических фигур. Вдоль труб образовалась небольшая насыпь из чернозема, в котором копошилось множество червей и белели муравьиные личинки (как будто кто-то бросил в землю несколько пригоршней риса). С трубами возился слесарь-водопроводчик: он нарезал резьбу и большим английским ключом привинчивал друг к другу отдельные секции.

— Работайте в огороде по несколько часов в день. К занятиям вернетесь только с моего разрешения,— распорядился отец-директор.

Я красил старенькой обтрепанной кисточкой трубы (чтобы не ржавели) и машинально шептал молитвы.

Во время большой перемены до меня доносились голоса товарищей, потом звонок возвещал конец уроков. Мне хотелось бежать к ним, но я продолжал гнуть

спину — закапывать трубы в землю. Звук колокольчика еще долго отдавался в ушах; на душе становилось тревожно.

Слесарь-водопроводчик и два служителя заметили мое состояние; видя, что я подолгу стою, опустив голову на ручку лопаты, они советовали мне посидеть в тени. Решив, что работа мне не под силу, они сказали об этом директору. Директор меня отругал, сказав, что побыть вот так несколько дней на воздухе — это одно удовольствие, но в конце концов снял меня с работы в огороде и послал приводить в порядок кладовую.

Кладовая находилась в глубине огорода и состояла из нескольких комнатенок; внизу были курятник и подвал. Когда я не открывал окна, звонка уже не было слышно. Комнатки были смежные, битком набитые всякой всячиной, и я должен был проверить, все ли там в порядке. В одной хранились ящики и мешки с макаронами, в следующей комнате стояли банки с консервированными продуктами; в третьей на деревянных помостах — бутылки с оливковым маслом; дальше шла комната, заполненная корзинами с сушеным инжиром, финиками и грецкими орехами. Финики были спрессованы в корзинах так, что их можно было резать ножом, как пасту.

По правде говоря, делать здесь было нечего, все стояло на своих местах. Уборки было не больше, чем дня на два. Но я никому этого не сказал и принялся делать совершенно бесполезную работу. Протер стеклянную посуду — банки, бутылки. Расставил их ровными рядами, перенумеровал. Снял паутину. Мне казалось, что я живу в какой-то сладкой полудреме. О занятиях и о собратях я почти не вспоминал. Когда они выходили к вечеру погулять, их голоса доносились до меня, будто из другого мира.

Иногда ко мне заглядывал отец Джованни. О его приходе возвещали гогот гусей и кудахтанье цесарок: чтобы пройти к деревянной лестнице, которая вела в кладовую, надо было пересечь птичий двор. Я слышал, как, войдя в первую комнату, он роется в мешке с орехами, насыпает себе полный карман. Он брал по два

ореха в правую руку и, медленно сжимая кулак, раскалывал их. У отца Джованни были красивые руки — продолговатые, с длинными пальцами и широкими квадратными ногтями.

Приходя ко мне, он всегда улыбался, и это выводило меня из оцепенения. Я знал, что обычно лицо его имеет совсем другое выражение, поэтому его веселость казалась мне напускной и ненужной.

Мне было почему-то трудно отвечать на его вопросы, хотя в них не было ничего такого, что могло привести меня в замешательство. Он спрашивал обычные вещи: «Как вы себя чувствуете? Как вам здесь живется? Болела ли у вас голова?» Меня смущали его глаза. Они, как два бурава, пронзали меня насквозь. «Почему?» — недоумевал я про себя. Отец Джованни колот орехи, аккуратно вынимал и съедал ядра, а сам, не глядя в мою сторону, разглядывал меня и примечал, что мною сделано. Я искал повода выйти на улицу — выполнить поручение, отнести какую-нибудь банку на кухню.

Последний день моего отпуска приходился на воскресенье.

— Идите погуляйте вместе со всеми, — приказал отец-директор, увидев, что я стою во дворе, прислонившись к ограде, и наблюдаю за вереницей муравьев, которые пытались втащить в муравейник мертвого майского жука.

Когда мы вышли за ворота, ко мне подошел отец Джованни.

— Вчера я получил письмо от Армандо, — тихо произнес он, выпрямляя спину и крепче ухватив руль велосипеда. (Теперь, отправляясь с нами на воскресные прогулки, он брал с собой велосипед и иногда бросал нас, чтобы покататься.)

Я взглянул на него с удивлением и, ничего не сказав, кивнул головой. Он не добавил к своему сообщению ни слова, а расспрашивать я не осмелился.

Отец Джованни сам заговорил на эту тему два дня спустя, когда я, по его приглашению, отправился с ним рано утром в небольшую церквушку при именни, куда его позвали отслужить мессу.

— Имение принадлежит одному из наших благодетелей и расположено в красивом месте, — объяснял мне отец Джованни, — а прогуляться полезно и вам, и мне.

Мы сели на велосипеды и поехали.

— Армандо написал мне хорошее письмо, — сообщил без всякого вступления отец Джованни. — Бедняга, очень тяжело очутиться вдруг в миру, я его понимаю. В представлении молодого человека жизнь в миру это одно, а в действительности — она нечто совсем иное.

Не помню, что я ответил на это. Отец Джованни продолжал:

— Армандо — юноша чувствительный; ему нужна поддержка и помощь. Одних книг для этого мало. Бывают такие периоды в жизни человека, когда его охватывает растерянность и вывести из этого состояния не может ни одна даже самая великая книга.

На лугу вдоль дороги паслись крупные лошади с развевающимися хвостами и гривами — темно-рыжие и серые в яблоках. Время от времени одна из них пускалась вскачь, вставала на дыбы, потом внезапно останавливалась и возвращалась к остальным.

— Я написал ему длинное письмо, и, надеюсь, мои советы пойдут ему на пользу. Я говорю «надеюсь», ибо молодого человека, пребывающего в таком настроении, в каком сейчас находится Армандо, может наставить на путь истинный только господь бог, которому ведомы самые сокровенные уголки человеческой души, все ее чаяния.

Рядом с лошадьми паслись жеребята. Они неуклюже семенили рядом с кобылицами, махали тупопосыми мордочками и временами отрывисто ржали. За одним из жеребят с блестящей серебристой шерсткой все время ходил другой, побольше, словно нянька, неотступно следующая за мальчуганом-непоседой, который того и гляди припустится бежать, упадет и покатится кубарем.

— Бог ему поможет, я уверен, — заключил отец Джованни.

Наверное, я с ним согласился, сказал, что тоже так думаю и желаю ему этого. Меня мучила жажда, во рту пересохло.

До виллы оставалось недалеко. Ее белый фасад уже виднелся неподалеку от фермы среди густой зелени парка. В поле в валках лежало сено; крестьяне ворошили его, чтобы оно скорее просохло. Пахло мятой, мальвой, трилистником и испанской травой. Шелковичные деревья, выстроившиеся рядами вдоль и поперек бескрайнего простора полей, стояли голые: сезон сбора листьев был в самом разгаре.

Мы сошли с велосипедов и пошли по главной аллее к вилле. На церковке прозвонил небольшой колокол. Хозяин дома встретил нас у входа, поздоровался и приказал одному из своих домашних поставить наши велосипеды под навес.

— Вам уже приходилось служить в нашей церкви, — сказал хозяин. — Когда все будет готово, позвоните в колокольчик!

В церкви пахло плесенью, и мы распахнули все окна. К побеленным известью стенам были прикреплены четырнадцать деревянных крестов — этапы крестного пути. Алтарь помещался в голубой нише, усеянной золотыми звездами. Покрывало было очень нарядное: на красной подкладке, вышитое рыбами, а по краям обшитое кружевами.

— Пока я буду молиться, сходи в ризницу, смотри облачение, — приказал мне отец Джованни.

Должно быть, где-то совсем рядом с церковью находилась конюшня, потому что, когда я открыл дверь ризницы, в лицо мне пахло запахом навоза. На буфете было разложено свежевыстиранное облачение. Риза была выткана золотыми узорами. На спине был вышит большой *agnus Dei* *, из белоснежной шеи которого струилась темно-красная кровь. Чаши с водой и с вином были высокие и пузатые, как графизы.

Я рассматривал все эти предметы, рассеянно касался их руками и поглядывал на крестьян, собравшихся на гумне. Слабость в ногах упорно не проходила, руки отяжелели, в горле першило.

В ожидании отца Джованни я сел в кресло, скрестил руки, опустил голову на грудь, вытянул ноги.

* Агнец божий (лат.).

Я чувствовал, как мышцы, натруженные после долгой езды на велосипеде, расслабляются. Мне хотелось выпить глоток воды, но чаша для омовения рук была полна пыли и сухих листьев. Я подошел к двери — взглянуть, нет ли поблизости водопроводной колонки, но колонки не было, а если бы даже она и была, я не был в состоянии сделать и двадцати шагов. Я был весь потный и оступел от яркого света. Я снова опустился в кресло. Мыслей в голове не было. В буфете стояла большая бутылка, я взял ее и отхлебнул глоток: это было вино для мессы. Сразу перестало першить в горле. Я сделал еще один глоток, потом еще и вернулся в кресло.

Отец Джованни задерживался, и я стал думать о письме, которое Армандо получил от него после отъезда из схоластиката в награду за то, что долгие годы скрывал свои истинные чувства. Я этого не понимал. Мне казалось только справедливым, что он очутился в мирѹ, выбитым из колен, без помощи. Каждый должен отвечать за свои поступки. Великодушные отца Джованни казалось мне чрезмерным, и на обратном пути я собирался ему это сказать.

Теперь мне хотелось, чтобы отец Джованни скоро переоделся и отслужил мессу. Пока я звонил в колокольчик, он вошел в ризницу и сам надел облачение. Тут у меня вдруг запылало лицо.

Мы отслужили половину обедни, когда я, встав, чтобы поднести ему чаши с водой и с вином, вдруг почувствовал, что вот-вот упаду. «Это вино», — с ужасом подумал я и даже не обернулся, чтобы не видеть, что делается за спиной. Я сжал зубы. Отец Джованни скосил на меня глаза и сделал удивленный жест рукой. На колени я больше не становился: боялся, как бы присутствующие не заметили, что мне трудно подняться. Щеки мои пылали.

Когда отец Джованни, запев «*Ite, Missa est*» *, обернулся, меня, наверное, нельзя было узнать. Что было дальше, я припоминаю смутно. Я слышал, как стукнула дверь ризницы. Потом отец Джованни бил меня

* «Ступайте, месса окончена!» (лат.)

по щекам. Вошел хозяин виллы с кувшином воды, мне побрызгали на лицо, я пришел в себя и заплакал. Вероятнее всего, то были слезы пьяного, ибо я был по-настоящему пьян, хотя это состояние длилось всего несколько минут. Глаза у отца Джованни улыбались. Он ни о чем меня не спросил — ни как я себя чувствую, ни как все это случилось. Мы молча сели на свои велосипеды и молча проделали весь обратный путь. Лишь один раз съехали с шоссе на берег Пьяве, где довольно долго и все так же молча отдыхали в тени развесистого вяза.

Я умирал со стыда, и отец Джованни это понимал, так как я старался даже не смотреть в его сторону. Ни в пятницу, ни в субботу после дня вознесения мне ни разу не удалось остаться с ним с глазу на глаз. Заболел наставник, который наблюдал за нами во время самостоятельных занятий, и отцу Джованни пришлось его заменять. Он все время сидел за кафедрой и не отрываясь читал книгу или молитвенник. Тем не менее я чувствовал, что он не спускает с меня глаз, следит за каждым моим движением. Рассказал ли он о том, что произошло, отцу-директору? Или же все наставники в курсе скандального происшествия и теперь лишь раздумывают, как меня наказать? Я должен был угадать это по его лицу, но оно было непроницаемым. Наверное, так чувствует себя зверь, за которым гонятся по пятам охотники и который, ринувшись в сторону, вдруг обнаруживает, что единственный открывающийся перед ним путь ведет к западне и что, стало быть, деваться некуда. Так не лучше ли войти в нее самому? Броситься в ноги отцу-директору, рассказать ему о своем проступке! Но у меня не хватало для этого сил, не хватало внутренней уверенности в необходимости подобного шага.

Мне казалось, что я не заслуживаю такого презрения, что такое отношение ко мне несправедливо. Я подолгу стоял возле двери в комнату директора и молил бога дать мне силы постучать, но, слышав шаги, убегал в амбулаторию или прятался в пустом классе.

В те дни какая-то часть моего существа оцепенела, впала в летаргический сон. Наверное, я нуждался

в том, чтобы кто-то меня одернул, отругал, а отругав, простил... Прощение было бы для меня равносильно граду побоев: оно пробудило бы меня к жизни. Но я был окружен молчанием, и это притупляло мои чувства. Я знал, что если буду продолжать бегать, как я бегал, то в конце концов упаду и больше не смогу подняться, а собратья, равнодушно наблюдающие, как я целыми днями ношусь, точно ужаленный тарантулом, обступят мое бездыханное тело и кто-нибудь из них скажет: «Помолимся за брата нашего Беато Серафини». *«Requiem aeternam dona ei Domine»* *.

В воскресенье утром после мессы отец Джованни подозвал меня к себе и повел в свою комнату. Я пассивно поплелся за ним. Впустив меня, он остановился на несколько секунд в дверях, развел руки в стороны и проделал свое обычное дыхательное упражнение. На лице его была улыбка. Заметив, как я мрачен и смущен, он сказал:

— Садись. Я вовсе не собираюсь ругать тебя за то, что произошло в прошлый четверг. Никто ничего не узнает.

Будто гора свалилась с плеч... Я посмотрел на отца Джованни затуманившимися от слез глазами, не в силах справиться с волнением.

Он сел за стол и, словно речь шла о чем-то совсем обыденном, негромко спросил:

— Беато Серафини, не приходило ли тебе когда-нибудь в голову уйти из конгрегации?

Он говорил так тихо, что смысл его слов дошел до меня, лишь когда он замолчал. Я смотрел на него, и у меня подкашивались ноги, было трудно дышать, в ушах стоял звон.

— Серафини,— продолжал он, стукнув ладонью по столу,— я давно за тобой наблюдаю и, как мне кажется, угадываю твои мысли. Может быть, раньше у тебя и было сильное желание стать священником, однако сейчас, по-моему, от него не осталось и следа.

Его слова повисли в воздухе. Воцарилась тишина. Я смотрел на него, и мне хотелось крикнуть: «Что ты

* «Упокой душу его, господи» (лат.).

увидел? Что ты мог увидеть, если я сам ничего не вижу и средь бела дня блуждаю, как в потемках?!» Но я ничего не сказал, а молча плакал. Он же продолжал:

— Наблюдая за тобой в течение нескольких месяцев, я, по-моему, многое понял.

«Ах, ты понял! — молча возмущался я. — Понял и не сказал ни слова! Значит, ты день за днем наблюдал, как я слепну, и не протянул мне руку помощи...»

Слезы текли у меня из глаз.

— И все же многое в тебе продолжает оставаться для меня загадкой. Ты должен помочь мне ее отгадать, — рассуждал он. — В подобных случаях внезапного затмения бывает особый момент, когда душу как бы окутывает черная пелена.

Я не отвечал.

— Может быть, я виноват перед тобой, потому что мог тебе помочь, — сказал он, неожиданно расстроившись и помрачнев. — Я вовремя не обратил на тебя внимания, ты тоже со мной не поговорил. Не бойся, загляни в себя! Ведь ты мне доверяешь... Скажи мне, что с тобой произошло, даже если то, что ты скажешь, будет звучать как обвинение против меня. Даже если я, сам того не желая, виноват в равнодушии, мне будет легче, если я буду знать все.

— Нет, нет, — бессвязно лепетал я, — как мне вам объяснить? Никакого затмения нет и никогда не было, и раскаяния никакого нет, ничего нет, ничего.

— Ничего нет? Как это может быть?

— Я сам не знаю! — ответил я, разразившись безудержными рыданиями. — Не могу понять, не знаю. У меня такое чувство, будто я пустой, весь пустой внутри, умер, иссох.

— Но особый момент был? — спросил отец Джованни, наклонившись ко мне.

— Какой момент? — недоуменно переспросил я.

— Я имею в виду день, когда ты почувствовал, что пошатнулась, заколебалась, как пламя свечи, твоя любовь к богу.

— Нет, — решительно возразил я и, потупившись, добавил: — А может быть, и был, только я не заметил...

После моих слов воцарилось долгое молчание. Я постепенно успокоился. Вытер слезы. И тогда я его рассмотрел. На преобразившемся страдальческом лице отца Джованни я увидел глубокое сострадание.

— Беато Серафини, ты должен подумать. Сейчас — решающий момент твоей жизни. (Он говорил торжественным тоном, какого я никогда у него не слышал.) — Ты должен найти в себе силы и заглянуть к себе в душу с беспощадной решимостью. Нельзя стать священником только потому, что тебя осенила эта мысль в ранней молодости. Быть священником означает не принадлежать больше себе, а целиком, на всю жизнь отдать себя богу. Чувствуешь ли ты в себе силы отказать от своих жалких фантазий и слепо подчиняться слову всевышнего?

Я молчал.

— А если через год или два ты обнаружишь, что ошибся? Не лучше ли, перед тем как дать торжественный обет, проанализировать свои чувства и трезво оценить свои силы? Любовь к богу — очень хрупкое растение. Итак, подумай. Твои наставники, если ты заговоришь с ними о своем душевном кризисе, постараются преуменьшить его значение, скажут, что тебя искушает дьявол, и сделают все, чтобы тебя удержать. Будь же сам своим судьей, ибо отвечать перед богом придется тебе одному! А сейчас иди и храни в тайне то, о чем мы с тобой говорили, до того дня, когда тебе придется принять решение.

Не в силах больше сдерживать волнение, я бросился вниз по лестнице, но, добежав до первой площадки, остановился. Мне казалось, что я пьян; я сжал зубы. Размеренным шагом пройдя через двор, я отправился в огород, где никто не мог увидеть моего лица, и сел под дерево.

•

— Вы загорели и, по-моему, окрепли, — сказал мне отец-директор, усаживая рядом с собой, когда я явился к нему в воскресенье вечером для очередной беседы.

Было жарко. Он снял воротничок и, взяв меня за руку, велел начинать.

— Отец-директор, я прошу вас отпустить меня из конгрегации! — выпалил я одним духом, глядя на него во все глаза. — Мне кажется, я не принадлежу больше к числу господом избранных душ.

— У вас слишком пылкая фантазия, — спокойно возразил отец-директор. — У людей с таким характером, как ваш, возрастные явления всегда протекают очень бурно. Я ждал от вас этой вспышки.

— У меня не было иных «фантазий», кроме мечты стать священником, ваше преподобие, — растерянно продолжал я. — Но я опустошен, пыл мой пропал, все чувства угасли в моей душе.

Мне казалось, что говорю не я, а кто-то другой и что потом мне еще предстоит подтвердить свое решение как бы свидетельством со стороны.

— Сын мой, имейте терпение, такие вещи надо решать абсолютно спокойно, по здоровом размышлении. Такие случаи духовной опустошенности, терзающей сейчас вашу душу, нередки в условиях жизни в закрытом учебном заведении. Почему бы вам не завершить свое философское образование в одном из наших институтов в Южной Америке? Там вам будет спокойно. Никаких отвлекающих моментов. Условия для созерцательной жизни идеальные. Подумайте и дайте мне ответ. А сейчас преклоните колена — я вас благословлю и да снизойдет на вас божья благодать.

Поднявшись с колен, я вышел. Я не знал, куда себя девать. Было жарко. Вокруг — чужие люди.

Ближе к лету наставники стали подолгу гулять во дворе. Оттуда доносились сейчас шаги, голоса. Некоторые сидели на краю фонтана перед главным входом, как вокруг стола. Через открытые окна доносился чей-то негромкий смех. Возможно, явился с визитом кто-нибудь из благодетелей или приехал кто-то из родителей — справиться об успехах своего чада. Ведь учебный год близился к концу.

Голоса доходили до меня словно издалека, шепот и гул сливались с журчанием воды фонтана. Я не различал, чьи это были голоса, мне было не интересно,

кто говорит, что говорит, о ком говорит. Я лежал с открытыми глазами на кровати, смотрел на освещенный косыми лучами потолок, разглядывал большие ромбы тусклого света: вот в них вписываются очертания медленно удаляющейся фигуры. Потом появились пугливые ночные тени. За окном — непроницаемо темное небо, усеянное тысячами звезд. Я слышал сонное дыхание своих братьев, кто-то повернулся на другой бок — глухо закрипели пружины, взметнулось одеяло, забелела простыня. Один кашлянул, второй слегка захрапел, третий что-то пробормотал во сне: я узнавал по этим звукам своих товарищей и думал о том, как им сейчас спокойно. Но я им не завидовал, я не мог оплакивать утраченную ясность духа, я еще не сознавал, что произойдет во мне через несколько дней. Лежа с широко раскрытыми глазами, я старался думать о словах отца Джованни. Я должен уйти отсюда, чтобы не затягивать это двусмысленное положение. Вне этих стен, без всякого нажима со стороны, на свободе, я снова все обдумываю. И я машинально повторял слова, которые собирался сказать директору при ближайшей встрече с ним. Но сначала мне надо еще раз повидать для окончательного разговора отца Джованни.

На следующий день я сообщил директору о своем решении: я не имел ни малейшего желания, чтобы мое имя включали в список учащихся, уезжавших в Южную Америку.

— Хорошо, — ответил он примирительно. — Хорошо, вы не поедете в Южную Америку. Я сегодня же напишу главе ордена и изложу ему вашу просьбу. Его ответ, безусловно, внесет полную ясность в создавшееся положение. О том, что с вами происходит, не говорите братьям ни слова и молитесь, ибо желание служить богу — тоже от бога.

Всякий раз, когда кто-нибудь из братьев подвергался искушению покинуть конгрегацию, назначались специальные общие молитвы.

Во вторник утром отец-директор взошел на алтарь и обратился к нам с речью. Как всегда в таких

случаях, он объявил, что бес, подобно волку, схватил зубами и хочет унести агнца из овчарни господней.

Я стоял и невозмутимо слушал, что он говорит.

От подобных сообщений ученики впадали в состояние душевного смятения. Все наблюдали друг за другом, старались угадать, кто же этот несчастный, но ни у кого не хватало смелости расспрашивать товарищей. Мне же казалось, что узнать его нет ничего проще: достаточно увидеть, как он молится.

Ежедневно служили мессы, причащались, читали «Припиди, создатель духа». Но я не испытывал от этого никакого облегчения и на большой перемене мне было тягостно видеть грустные лица собратьев. На сей раз один из них неожиданно поделился со мной своими предположениями. Тихим голосом, часто вздыхая, он назвал мне имена послушников, которые, по его мнению, поддались искушению.

В четверг, во время перерыва между занятиями, я побежал искать отца Джованни.

— Отец, я больше не могу молчать! Если это затянется еще на несколько дней, я не выдержу — убегу ночью, прямо через поле. Письма от главы ордена все нет и нет. Вполне вероятно, что ему просто не до меня: ведь под его началом столько учебных заведений, сотни священников... Что для него переживания какого-то студента со второго курса философии? Отец-директор заупрямился, он хочет заставить меня отказаться от принятого решения, но для меня путь назад отрезан.

— Попроси, чтобы он купил тебе мирскую одежду, — сухо ответил мне отец Джованни.

Вечером того же дня директор спросил у меня, не хочу ли я съездить в Рим поговорить с руководителями конгрегации.

— Я хочу получить мирскую одежду, чтобы вернуться домой, отец, — твердо возразил я. — Мне здесь не место.

С того дня все стало на свои места. Я перестал ходить на занятия и часами лежал на кровати в дортуаре. Собратья поняли, что я собираюсь вернуться

в мир, и избегали меня. Впрочем, никто ни о чем меня не спрашивал.

— Может быть, я смогу ехать в следующее воскресенье, на троицу?

Я высказал эту мысль отцу-директору таким решительным тоном, что он не смог мне возразить. Он был явно раздосадован.

— Сегодня я отправляю телеграмму вашим родителям, чтобы они ждали вас дома в воскресенье во второй половине дня. И скажу отцу-эконому, чтобы он подготовил все необходимое для вашего отъезда. Да поможет вам бог.

Родители... Как это ни странно, но я ни разу о них не подумал. Сейчас отправят телеграмму. Поздно ночью почтальон подъедет на велосипеде к нашему дому, позвонит, поднимет всех на ноги. Отец поспешно вскрыет телеграмму, не поймет, почему я еду домой, решит, что в награду за успехи. И будет без конца перечитывать текст. А догадается мать. Она всплеснет руками и скажет: «Боже, спаси нас и помилуй! Наш Беато возвращается домой».

«Это я понял,— скажет отец.— Он возвращается насовсем. Он не будет священником!»

Отец не сможет взять в толк, что случилось: «Что он наделал? Почему он не будет священником?»

Отчаянно размахивая руками и хватаясь за голову, мать не спрашивает почему. «Он едет домой, едет домой,— твердит она.— Какой позор!»

Слыша эти слова, отец начинает понимать, что его честолюбивые планы рушатся и что он остался у разбитого корыта. «Ах каналья, что же он наделал?» — возмущается он и, прихрамывая, идет искать мои последние письма. Вот они лежат в ящичке, засаленные, скомканные. Он начинает их перечитывать, украдкой поглядывая на мать (она сидит и тихонько плачет). «Он ничего такого не пишет. Сообщает, что, слава богу, здоров и что ученье идет отлично. Но о том, что собирается домой, ни слова».

Мать не отвечает и продолжает тихо плакать...

В субботу вечером, в последний день моей жизни послушника, услышав привычный звонок, я не по-

шел в дортуар, а досидел в церкви до тех пор, пока наставники и собраты не легли спать. Когда все стихло, я прокрался по коридору в классную комнату. Проходя мимо покоев отца-директора, я подумал, что надо бы зайти получить деньги на билет. В суматохе я про них забыл. Но решил, что лучше отложить это на утро.

Зачем мне понадобилось идти в такой час в классную комнату? Хотелось уничтожить свои дневники. Но, вынув из ящика большой желтый конверт, в котором они лежали, я зажег настольную лампу и начал их перелистывать. Это были толстые тетради в черном переплете с красным обрезом. На каждую был наклеен прямоугольный листок бумаги с указанием года. Последняя тетрадь была исписана лишь до половины.

Взгляд мой упал на дневник, который я вел в Вигоне. Я медленно листал густо исписанные страницы, не дочитывая до конца ни одной фразы, выхватывая отдельные слова, образы. Перед моим мысленным взором, подобно сновидениям, возникали события тех лет: годы, прожитые в Вигоне, в Монтеккьо Маджоре, в Понте ди Пьяве... И я со всей жестокой очевидностью понял, какое безвыходное одиночество ждало меня впереди. Я ласково гладил страницы; душу мою переполняли жалость к себе, зависть к тому, кем я был и кем мог бы еще стать.

Мною овладело такое чувство, будто я похоронил кого-то, похоронил свою юность. Мне было восемнадцать лет. Безотчетно поддавшись порыву, я сам, своими руками загубил свою юность. Как я и предвидел, Беато, который учился в Монтеккьо Маджоре, в Вигоне, в Понте ди Пьяве, умер насильственной смертью, проделав такой большой путь. Он пал. Товарищи не окружили его участием, не молились за него. И это было только справедливо. Но, господи, почему ты позволил, чтобы это случилось? Почему ты дал мне приподняться, а потом покинул? Чем я заслужил это?

Но то был глас вопиющего в пустыне: мой стон прозвучал в темноте и остался без ответа. Я с глубокой нежностью гладил страницы тетради. И вдруг передо

мной возник образ Армандо. Где ты? — вопрошал я взволнованно, удивленный. Мне казалось, что я вижу его в своем городе. — Что ты делаешь?

Первые дни после возвращения прошли в бездействии. Потом он стал повсюду наводить справки и нашел работу на автобусной станции: кондуктором, простым кондуктором междугородного автобуса. Что говорить, обязанности несложные: проверил билет, проколол дырочку — и все! И так все десять часов. Маршрут: Скио — Виченца и обратно. Работа нетрудная, есть даже время подумать о себе. Так, мало-помалу, с большим трудом, он собирал осколки разбитого вдребезги. Когда-нибудь ему это удастся довести до конца...

Я уронил голову на скрещенные руки. Лоб горел.

С полей доносился аромат травы и цветов, тихое стрекотание кузнечиков, временами заглушаемое кваканьем лягушек. На безоблачном небе сияли звезды.

— Господи, если бы ты мог мне помочь! — прошептал я, поднимая голову. — Ведь ты знаешь: я выхожу из конгрегации только потому, что хочу остаться честным.

Я собрал дневники, связал их бечевкой, погасил свет и вышел. Я унес их с собой.

Я брел как в тумане. В дортуаре все уже спали. Я поспешил улечься в постель, но мысль о костюме, который мне положили под матрац, мучила меня всю ночь: мне казалось, что подо мной камни.

На следующий день была троица. Я проснулся, и на меня сразу нахлынул целый рой тревожных мыслей.

Можно знать, хотя бы в общих чертах, что собой представляет великое таинство прозрения, и не бояться огненных стрел, которыми господь просвещает темный разум человека. Я же думал об этом огне, как о невозвратно утраченном благе, и в душе моей воцарилось отчаяние — спокойное, покорное отчаяние. Плакать я не мог. Вернее, я плакал внутри себя, сам того не зная, дня и ночи напролет, но глаза мои были сухи, они окаменели.

Никто меня не осудил, никто не прогнал как недостойного. И все-таки мне казалось, что у меня украли что-то очень ценное, такое, что я, по преступной халатности подпустив к себе воров, не смог уберечь.

В открытые окна светило солнце; от яркого света было больно глазам. Послушники, возбужденные ясным, погожим днем, расшвыривая в стороны простыни и одеяла, бежали умываться. Я смотрел на них не шевелясь.

«Перед тем как уехать, надо попрощаться хотя бы с отцом-директором и с отцом Джованни», — сказал я себе и сел на постели.

Накануне вечером отец-директор оставил мне на тумбочке конверт с деньгами на дорогу. Перед сном я вскрыл его и обнаружил пять бумажек по тысяче лир каждая.

Что можно сделать на эти деньги? Или их хватит только на билет? С тех пор как я стал послушником, мне не приходилось ничего покупать, и я не знал, что сколько стоит.

«Наверное, лучше встать и умыться», — сказал я себе, выскользнул из кровати и привычными, машинными движениями надел рясу. Собратья смотрели на меня с удивлением, недоумевая, почему я еще здесь и все еще в рясе. Но не мог же я пойти в церковь в костюме! Это было бы грубым нарушением правил нашего общежития. Меня попросту прогнали бы из церкви, как того гостя из притчи, который явился на пир не в свадебном одеянии. Обычай надо соблюдать до конца.

Я подошел к окну — взглянуть в последний раз на небо, на окружающие предметы. Пшеничные поля, луга, виноградники были покрыты росой и сверкали на солнце. Во дворе от ограды к деревьям тянулись гирлянды разноцветных флажков, как на мачтах корабля. На фасаде висел папский флаг.

Тем временем послушники, умывшись, стелили постели; некоторые, стоя на коленях возле изголовья, проворно шевелили губами: молились. Это вернуло меня к действительности. Я бы предпочел запереться в душе — дожидаться, когда дадут сигнал идти в церковь, после чего вернуться в дортуар, чтобы побыть одному, запечатлеть в памяти все подробности обстановки. Не стесняясь ничьим присутствием, я бы поднял матрац, вынул костюм, хорошенько его осмотрел и надел. Мо-

жет быть, после этого я кого-нибудь встречу — таким и останусь у него в памяти: совсем другим, жалким в этой непривычной одежде — явном свидетельстве измены...

В эту минуту в толпе людей, подходивших к зданию схоластиката (я все еще смотрел в окно), я заметил своих родителей. Мне показалось, что в приземистом хромом мужчине, одетом в черный костюм, я узнаю своего отца. Вслед за ним, чуть отстав, понуро шла мать. Я вздрогнул, кровь бросилась мне в лицо. Присмотревшись к толпе, черневшей за окном, я увидел, что они остановились в нерешительности и, робея, смотрели на незнакомый дом. Сейчас отец спросит у кого-нибудь из прохожих, где находится схоластикат.

Толпа стала гуще; родители оказались посредине людского потока, устремившегося куда-то в сторону. Я утер рукавом глаза, но слезы продолжали катиться по щекам. В этот момент прозвонил звонок, возвещавший начало мессы. Я наконец оторвался от окна, чуть не бегом спустился с лестницы и вошел в церковь. У меня было, наверное, очень расстроенное или совсем бледное лицо, потому что сидевшие рядом послушники смотрели на меня с нескрываемой грустью. Я надеялся, что они погрузятся в молитву, а я тем временем соберу свои последние силы.

— Выйдите на улицу, подышите свежим воздухом, вам будет легче, — прошептал чей-то голос.

Я узнал его: это был послушник Строббе. Но я лишь плотнее сжал зубы. Выходить я боялся. Ведь в глубине церкви, где-нибудь среди благодетелей схоластиката, наверное, сидят мои родители.

В белом свете люстр сияли украшения алтаря. Орган звучал в полную мощь. Пели «Прииди, создатель духа». Мне казалось, что я уподобился свече и таю на огне.

Когда священник начал причащать, все встали. Я машинально, вместе с другими послушниками направился к балюстраде.

Но в этот момент я услышал внутри себя голос, поразивший меня как гром и пригвоздивший к месту:

«Что ты делаешь? Куда идешь?»

«В самом деле, что я делаю?» — смутно и покорно подумал я. Послушники встали на колени у балюстрады перед священником, который, воздев руку с дароносицей, шептал положенную молитву. Я повернулся, опустив голову, вышел из церкви и бросился вверх по лестнице.

Я отшвырнул матрац, взял костюм, схватил свой чемодан. Я походил на вора, который удирает, ухватив краденое. Но, дойдя до коридора третьего этажа, я спохватился, что держу костюм в руках, а ряса все еще на мне. Уходя, я обязан был ее снять.

Я оглянулся по сторонам. Вдоль стены церкви тянулся темный коридор с низким потолком; там имелась уборная, которой никто не пользовался. Я на цыпочках юркнул в этот темный коридор. Из церкви доносились последние звуки стиха «O felix anima» *.

Я с отвращением вошел в уборную. Месса подходила к концу, слышался скрип отодвигаемых стульев. Я запер дверь на задвижку и начал раздеваться. Раздевался я медленно, как во время размышления накануне трудного дня. Повесил рясу на гвоздь. От острого запаха аммиака перехватывало дыхание. Брюки из грубой ткани стесняли движения. Я схватил чемодан и выбежал в коридор.

*

За воротами — безлюдная дорога. Неподалеку — желтоватый дом доктора, а на повороте, не доходя до пристани, бойня. Я мысленно прикинул, сколько мне идти, и, с трудом волоча тяжелый чемодан, побежал, как будто за мной кто-то гнался. «Садитесь на поезд в Фагаре», — наказывал отец-директор.

У поворота я свернул на тропинку, которая вела вниз, к реке. А вот и Пьяве: каменистое русло, нежно-голубая вода, бирюзовые берега, густо поросшие зеленью холмы.

На пароме, состоящем из нескольких плохо сколоченных досок, никого не было. Переправившись на ту сторону, я взбежал на высокий берег и, с трудом

* «О счастливая душа» (лат.).

переводя дыхание, упал на траву под большой шелковицей.

В утренней тишине слышался только лай напуганной собаки и шелест листвы над головой.

Отныне я больше не член конгрегации. Впервые за всю свою жизнь я располагал полной свободой. На сей раз прогулка продлится не час и не два. Оставив реку Пьяве далеко позади и приехав в свой городишко, я уже не услышу больше голоса своего наставника: «Пора возвращаться, прогулка окончена». Никто мне не скажет, что мне надлежит делать — молиться или заниматься, спать, молча прогуливаться или идти в церковь. Эта мысль приводила меня в смятение. Я был подобен дереву, которое выкопали из земли, чтобы пересадить в другое место: жизнь в нем замерла, оно жаждет пустить корни где угодно, только бы поскорее, пока не ушли из него все соки. Именно так спрашивал я себя в то утро: «Где и когда я пушу корни? Что я с собой сделаю?» Не легче было думать и о повседневной жизни — я не знал, как она сложится. Бросить ученье, лишиться призвания — еще ничего не значило. Гораздо важнее было знать, что я смогу сделать с собой при тех взглядах на жизнь, которые я усвоил за восемь лет ученья. На что я способен? Мысленно я уже видел сердитое лицо отца и горькое разочарование на лице матери. «Что ты будешь делать?» — спросят они.

Что я буду делать? Может быть, я смогу работать в отцовском магазине? Но это было бы самое простое и трусливое решение вопроса. Я отверг его с отвращением.

Я мог бы закончить образование. Какое? Моя тяга к знаниям была слишком расплывчатой.

Я встану на колени и буду смиренно просить родителей: «Дайте мне несколько недель, дайте мне время подумать». В ответ они, наверное, скажут: «О чем ты хочешь думать?»

Тем временем я озирался вокруг и не чувствовал в себе никакого желания принимать решение.

Я не знал, в котором часу придет поезд. Мне казалось, что станция Фагаре находится где-то неподалеку. Было воскресенье. Интересно, чем занимаются обычные

люди по воскресеньям... Предположим, утром ходят в церковь. Ну а потом?

Я схватил чемодан, вскарабкался на откос и зашагал по тропинке, которая шла по полю вдоль реки. Золотистая пшеница уже почти созрела — через несколько дней ее будут убирать. Низкие виноградные кусты, испещренные пятнами медного купороса и увешанные крупными гроздьями винограда, тянулись длинными рядами по выжженной солнцем земле. Насколько хватал глаз, передо мной простирались пшеничные поля и виноградники, пересеченные длинными рядами тутовых деревьев; там и сям белели крестьянские дома с красными крышами. Пронзительно, хором верещали цикады. Вокруг не было видно ни души. Время от времени я останавливался передохнуть, ставил на землю чемодан и осматривал свой костюм, с чувством уязвленного самолюбия щупал материю. Я устремлял взгляд в сторону Пьяве, смотрел на широкое белое речное русло, на струившуюся ручейками воду, на окутанные мглой холмы, на горы. Меня преследовал голос отца: «Что ты теперь будешь делать?»

На берегу какой-то человек удил рыбу.

Я окликнул его, он обернулся.

— Как мне пройти в Фагаре? — спросил я, опуская на землю чемодан.

— Шоссе начинается от моста. Идите все время прямо, а если заблудитесь, там люди ходят, они вам укажут, — ответил рыбак.

Тропинка стала шире и пошла полем; по бокам тянулись затянутые илом канавы и припорошенные пылью ограды. Показалась колокольня. Праздничная месса в той деревне, куда я шел, должно быть, уже окончилась, потому что в воздухе стоял неумолчный перезвон колоколов. Тропинка вывела меня на проселочную дорогу. Мимо проезжали люди на велосипедах; и я боялся, что меня кто-нибудь узнает, поэтому пользовался первым же мостиком, который вел к виноградникам, чтобы снова углубиться в поле. Колокольня служила мне ориентиром.

Я шел теперь по прекрасному винограднику. Кусты тянулись ровными рядами, лозы были аккуратно подвя-

заны, гроздя были уже величиной с большой палец. Тащить чемодан было тяжело, и я замедлил шаг. Я так загляделся на кусты и деревья, что не заметил, как снова заблудился. Но, заметив, ничуть не огорчился. Времени до вечера оставалось много. Вид этой зелени успокаивал, приносил какое-то неизъяснимое облегчение. Я ускорил шаг, как будто спешил по важному делу. Я чувствовал себя сильным, уверенным, как человек, который взял мешок, чтобы идти за хлебом.

Мне хотелось есть, и я стал озираться по сторонам — нельзя ли сорвать хотя бы зеленое яблоко. В этот момент я увидел трубу, из которой поднималась стружка дыма; потом показался белый дом, а на нем — вывеска: «Закусочная». Под навесом, густо поросшим виноградом, стояло несколько столиков.

Падая от усталости, я поставил чемодан и сел за стол. По-видимому, кто-то видел, как я подошел, потому что из дома тотчас вышла девушка и спросила, что я желаю. Я на нее посмотрел и, заикаясь, пробормотал, что хочу пить.

— Бутылку вина?

— Вина? — машинально переспросил я.

— Белого или красного?

— Белого, белого, — поспешно ответил я.

Когда девушка скрылась, я сообразил, что, не подумавши, заказал вина, и испугался. Однако когда она вернулась и поставила на стол бутылку с вином и стакан, я посмотрел на нее с любопытством и добавил, что хочу есть еще в большей мере, чем пить. Лицо у девушки было красивое, розовощекое, как персик.

«Теперь я могу на нее смотреть, я же больше не послушник», — думал я. Смущение мое было так велико, что когда я, не спуская глаз с ее удалявшейся фигуры, протянул руку к бутылке, я неловким движением ее опрокинул. Вино разлилось. Услышав стук опрокинутой бутылки, девушка подбежала к столу.

— Простите меня, простите! — смущенно лепетал я, чувствуя, что краснею.

— Не беспокойтесь, я принесу другую.

— И хлеба тоже. Я голоден.

— Хотите колбасы?

Я кивнул головой; девушка, не дожидаясь ответа, исчезла. Я пощупал карман, проверяя, при мне ли деньги. Она тотчас вернулась с желтоватой скатеркой и тарелкой хлеба. Я налил себе вина и стал макать в него хлеб. Хлеб был мягкий, вкусный; вино отлично утоляло жажду. Когда девушка принесла колбасу, бутылка была пуста. «Вот так история», — подумал я, но мне не было стыдно. Я смотрел на зеленоватые лозы вьющегося винограда над головой, на тень от навеса, паутиной лежавшую на земле, на прозрачное небо и на облака.

На кухне гремели кастрюлями, приятно пахло дымом. Пропел петух. В доме негромко переговаривались низкие женские голоса. На вывеске у входа желтой краской на большом железном щите было написано: «Закусочная Баттисты».

«Я должен запомнить ее, — говорил я себе, дожевывая последний кусок. — Ведь это первое место, где я нашел приют. Будь у меня деньги, я бы побыл здесь несколько недель. Здесь идеальное место для уединения». Я закрывал глаза и мысленно представлял себе, как я брожу по лугам и по полям, валяюсь на траве в тени шелковиц...

Я вытянул руки поверх стола, положил на них голову. Поля тоже пригнулись, стали похожими на бескрайнее зеленое море, трепещущее и призрачное.

Послесловие

Скитания Беато Серафини по учебным заведениям монашеского ордена иезуитов (сами иезуиты называют свою организацию обществом) весьма поучительны. Вместе с героем читатель проходит через все его сомнения и колебания, которые автор описывает нарочито упрощенным стилем итальянских неореалистов, не вдаваясь в излишнюю полемику и публицистически не заостряя фактов и самих по себе безобразных обстоятельств, с которыми приходится сталкиваться Беато Серафини. К концу романа наш герой стоит на перепутье. Духовная карьера не удалась. Его, так же как и Армандо, покинувшего духовную школу, ожидает тяжелая жизнь. И все же Серафини настроен оптимистически. Впервые он сделал выбор самостоятельно. Его решение назревало годами, подкреплялось виденным и слышанным. Свою положительную роль сыграли и высказывания последнего отца-директора («Господь, господь! Как только что-нибудь не ладится, вы сразу обращаетесь к господу. Но надо же пытаться и самому что-то делать!»), а также рассуждения умного отца Джованни, к слову сказать, единственного сравнительно положительного персонажа в окружении Беато Серафини. У читателя нет оснований беспокоиться о будущем героя. Что бы ни случилось и как бы ни сложилась его жизнь, Беато Серафини навсегда отказался насиловать свою душу и тело. Он избавился от духовного рабства, в котором монашеские ордена и конгрегации держат огромную часть верующих католиков, и в частности юношей, «внезапно почувствовавших призвание к монашеской жизни».

Туман духовных упражнений, под действием которых Беато впервые утратил чувство близости к товарищам, приобретенное за четыре года пребывания в семинарии, рассеялся навсегда. Но это далось ему нелегко.

Опытный наставник-иезуит использует вполне закономерные сомнения своих подопечных, играя на таких чувствах,

как беспомощность, нужда, страх, скука, вечная неудовлетворенность, мечтательность. Прибегая к риторике, он направляет их жизни по нужному ему руслу. Указатель пути, говорит он, в страданиях; каждый самостоятельно должен прокладывать себе путь к вечной истине — богу, должен раствориться в нем и тем самым обрести вновь себя.

Эти хитроумные приемы рассчитаны на то, чтобы увести питомцев духовной семинарии от действительности, от реальной жизни. А дальше следует неожиданный скачок в политическую сферу: «Вскоре понадобятся люди, которые поедут читать проповеди в церквях России и Дальнего Востока...»

Ватиканская курия никак не может расстаться с идеей обращения неверующих русских в католическую веру. Борьба с коммунизмом продолжается, хотя в более завуалированном виде, особенно после того, как на престоле апостола Петра побывал такой папа, как Иоанн XXIII. Вспомним, как переполошились «великие мира сего», когда этот сторонник мира начал серьезный диалог с коммунистическим и социалистическим лагерем. И какое облегчение почувствовали правящие круги, когда папа скончался и его наследником избрали Павла VI, в прошлом близкого сотрудника Пия XII.

Роман Скапина содержит интересные для советского читателя данные о политической борьбе, развернувшейся в первые послевоенные годы в Италии. Беато Серафини слышит в поезде разговор двух коммунистов. «Католики сохранили свои организации и при фашизме, — говорит один из них, — поэтому они и сейчас в выгодном положении. Они начинают не с пустыми руками, в их распоряжении церковные приходы, клубы, армия священников».

А как они умеют пользоваться этой армией, показали выборы 1947 года, приведшие к власти христианских демократов. И хотя после выхода в свет романа Скапина произошло много новых событий, свидетельствующих о стремлении Ватикана наладить диалог с людьми иных вероисповеданий и с неверующими (свою роль сыграл здесь второй Вселенский Собор, продолжавшийся четыре года и закончившийся в декабре 1965 года), тенденция церкви осталась неизменной: любой ценой расширять зону влияния не только на католическое население, но и на атеистов всего мира. Знаменателен факт, что в 1964 году создан новый секретариат при Римской ку-

рии — секретариат для неверующих, председателем которого назначен венский кардинал Кёниг, ратующий за диалог с коммунистическим миром.

Легко догадаться, чего этот секретариат добивается. Отец молодого послушника Беато Серафини характеризует деятельность католического духовенства весьма метко. «Вы, священники, дадите сто очков вперед всем фашистским руководителям, вместе взятым». Крестовый поход продолжается, хотя он и облечен в другие, более современные формы. Церковь приспособляется к изменившемуся международному положению и старается правильно оценить новую расстановку сил.

Сотрудничество католических сил с левыми партиями в период итальянского Сопротивления в романе Скапина почти не отражено, но оно имело место и было явлением новым, так как в этом сотрудничестве приняли участие значительные силы католического движения*. В течение двадцати месяцев народно-освободительной борьбы значительная часть духовенства и некоторые религиозные организации оказывали помощь и поддержку итальянским солдатам, патриотам и партизанам. Представители низшего духовенства вместе с крестьянами, рабочими и молодыми интеллигентами, состоявшими в католических организациях, принимали непосредственное участие в Сопротивлении. Все это способствовало тому, что у народных масс создалось обманчивое впечатление, будто церковь и католические силы в целом выступают против фашизма.

Сотрудничество возрожденной католической партии с коммунистами и социалистами в период Сопротивления с политической точки зрения — факт знаменательный, но политика христианских демократов носила при этом двойственный характер. С одной стороны, католические силы приняли участие в народном движении с целью помешать тому, чтобы во главе его стояли коммунисты и социалисты, с другой стороны, церковные круги стремились затормозить тенденцию к обновлению страны, носителем которого было это народное движение**.

В романе Скапина отражен внутренний, итальянский аспект той холодной войны, которую империалистические силы ведут во всем мире против коммунистов. Эту антиком-

* См. Дж. Канделоро, Католическое движение в Италии, М., ИЛ, 1955.

** О политике Ватикана в период Сопротивления см. Р. Батталья, История итальянского движения Сопротивления, М., ИЛ, 1954.

мунистическую кампанию католики развернули вскоре после завершения вооруженной борьбы против фашизма. После удаления коммунистов и социалистов из правительства (май 1947 года) кампания эта усилилась. Особенно остро она протекала в последние годы жизни Пия XII. За короткое время пребывания на престоле папы Иоанна XXIII она несколько утихла.

Герой романа отказался участвовать в этой кампании. Он покидает духовное учебное заведение, возвращается в мир и, без сомнения, примкнет к прогрессивной части итальянского общества. Беато Серафини не удалось стать священником, он хотел остаться честным перед собой, перед людьми. И мы не сомневаемся, что ему удастся стать настоящим гражданином. Начало человеческое одержало верх над метафизическим. Для Беато Серафини нет возврата к прошлому. Отныне он будет работать на благо своего народа, во имя его будущего.

А. Куртна

Вирджилио Скапини НЕУДАВШИЙСЯ СВЯЩЕННИК

Редактор *П. Петров*
Художник *Ю. Максимов*
Художественный редактор *А. Купцов*
Технический редактор *И. Володина*

Сдано в производство 31/X — 1966 г. Подписано к печати 16/II 1967 г. Бумага 84×108¹/₂. 3¹/₂ бум. л. 11,76 печ. л. Уч.-изд. л. 11,15. Изд. № 12/6262. Цена 56 коп. Зак. № 970.

Издательство «Прогресс»
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва Г-21, Зубовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати при
Совете Министров СССР
Москва Ж-54, Валовая, 28.

